

Немеркнущая звезда

Часть первая



18+

А. С. Стрекалов

Александр Стрекалов

**Немеркнущая
звезда. Часть первая**

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Стрекалов А. С.

Немеркнущая звезда. Часть первая / А. С. Стрекалов — «ЛитРес: Самиздат», 2020

ISBN 978-5-532-12505-6

Судьба молодого советского учёного, попавшего во второй половине 1980-х годов под каток “перестройки” и не пожелавшего вместе с товарищами по Университету навсегда покидать страну; наоборот - грудью вставшего на защиту Родины от марионеточной кремлёвской власти с Б.Н.Ельциным во главе и проигравшего схватку осенью 1993 года. Со всеми вытекающими отсюда лично для него печальными последствиями... На обложке: картина И.Н.Крамского "Лунная ночь" 1880 год.

ISBN 978-5-532-12505-6

© Стрекалов А. С., 2020
© ЛитРес: Самиздат, 2020

Содержание

От автора	6
Глава 1	10
1	11
2	17
Глава 2	28
1	29
2	32
3	37
4	42
5	45
6	49
7	51
8	54
9	56
10	61
11	64
12	69
13	75
14	79
15	85
Конец ознакомительного фрагмента.	88

МОИМ ДОРОГИМ И ГОРЯЧО-ЛЮБИМЫМ РОДИТЕЛЯМ – ЛЮДЯМ, КОИМ Я ОБЯ-
ЗАН В ЖИЗНИ ВСЕМ: РОЖДЕНИЕМ, ЗДОРОВЬЕМ, ОБРАЗОВАНИЕМ, БЛАГОПОЛУ-
ЧИЕМ ДЕТСКИМ И ДЕТСКИМ СЧАСТЬЕМ – ПОСВЯЩАЕТСЯ!!!

От автора

Лейтмотив романа – драматическая судьба молодого советского учёного, попавшего во второй половине 1980-х годов под «каток перестройки» и не пожелавшего вместе с товарищами по Университету навсегда покидать страну, за границей искать лучшей доли; наоборот – грудью вставшего на защиту Родины от марионеточной кремлёвской власти с Б.Н. Ельциным во главе и проигравшего схватку в 1993 году, со всеми вытекающими отсюда лично для него печальными последствиями.

Фабула же произведения заключается в следующем. 13-летний провинциальный мальчик из простой рабоче-крестьянской семьи, ученик 7-го класса «А» общеобразовательной средней школы крохотного городка на юге Тульской области, помешанный на спорте и на победах и мечтающий стать великим лыжником, – этот мальчик однажды вдруг видит на стенде возле учительской объявление о приёме во Всесоюзную заочную математическую школу (ВЗМШ) при МГУ имени М.В.Ломоносова. Объявление это так на него подействовало окрыляюще и чудесно, что он моментально, словно бы по команде свыше, меняет жизненную ориентацию и приоритеты, и уже загорается новой идеей – стать большим математиком и поступить в Университет. После чего самым решительным образом порывает со спортом, лыжами и тренерами ДЮСШ и из шалопая-троечника становится вдруг отличником и домоседом, чем удивляет всех, кто его прежде знал: родителей, родственников, соседей, учителей и друзей. Его как будто зомбировали или же подменили, – но это была добрая для него и его близких «подмена», от Самого Господа Бога идущая. Именно так!

Загоревшись мечтой о Москве и большой науке, герой романа (Вадим Стеблов) стремительно идёт к своей цели: через год поступает уже в очную спецшколу при МГУ, академиком А.Н.Колмогоровым основанную, а потом – и в сам Университет, в котором он с удовольствием пять лет учится, постигая азы профессии, и будто в Раю живёт. После чего его ждёт аспирантура и диссертация, престижная работа в закрытом столичном НИИ, женитьба, семья и дети. Он летит по жизни как сокол-сапсан, также мощно, волево и стремительно, – пока не ударяется «лбом» в *перестройку*, что для него воистину оказалась «бетонной стеной», о которую он, молодой ещё в сущности человек, в итоге и «разбился вдребезги»... Перед этим, правда, он два года целиком посвятил себя политической борьбе с «антинародной бандой» Ельцина, что есть силы пытался противостоять новым российским властям, что *демократами* себя называли и *европейцами*, самозабвенно боролся с ними на митингах, на баррикадах в 1993 году... Но проиграл... И остался у разбитого корыта в итоге – без работы, без цели, без будущего. Хоть бери и вешайся, право-слово, руки на себя накладывай! – так ему тогда было худо и тяжело на сердце.

Его престижный некогда институт был на грани закрытия. Идти ему было некуда, кроме постылой торговли, куда он, кандидат наук и ведущий научный сотрудник, переходить категорически не желал, даже и под страхом смерти... Его товарищи по Университету и аспирантуре гуськом потянулись на заработки в Европу и США, эмигрировали, массово покидали страну, которой были не нужны учёные.

Растерявшийся в новой жизни герой романа, не находивший себе места в Москве, раз за разом начал ездить домой, к престарелым больным родителям, подолгу гостить под родительским кровом, отдыхать, набираться сил и успокаиваться. И там, на родине, овеянный воспоминаниями о счастливом детстве, попытался разыскать *первую свою любовь*, вернуть её, некогда грубо отвергнутую из-за мощной тяги в столицу, найти в ней спасение и защиту, новую в жизни цель. Как это у него получилось? И получилось ли? Этому и посвящён роман – о жизни и о любви парня к девушке, главным образом, что сопровождает героя на протяжении всего повествования, которое любовью же и заканчивается. Первой, чистой и бескорыстной, не замутнённой ничем любовью, которая всего на свете стоит и которую категорически нельзя

предавать. Которая не забывается, не меркнет с годами – сопровождает человека всю его жизнь, до последнего вздоха...

*«Ты вдали, ты скрыто мглою,
Счастье милой старины,
Неприступною звездою
Ты сияешь с вышины!
Ах! Звезды не приманить!
Счастью бывшему не быть!»*
В.А. Жуковский

«То, что сказали мне детство и юность, то оказалось правдой вечной и неизменной! И не эта правда изменялась от времени и науки, а изменялись мы сами, удаляясь от неё, теряя ощущение правды, – понимание её и влечение к ней. Как легко потерять ощущение правды, и как трудно найти потерянное!»

Князь Н.Д. Жевахов «Воспоминания»

«Но ведь тому, кто любил и был любим, счастьем есть и сама память о любви, тоска по ней и раздумья о том, что где-то есть человек, тоже о тебе думающий, и, может, в жизни этой суетной, трудной и ему становится легче среди серых будней, когда он вспомнит молодость свою – ведь в памяти друг дружки мы так навсегда и останемся молодыми и счастливыми. И никто и никогда не повторит ни нашей молодости, ни нашего счастья, которое кто-то назвал “горьким”. Нет-нет, счастье не бывает горьким, неправда это! Горьким бывает только несчастье».

В.П. Астафьев «Звездопад»

«Вот прилетела к нам, села на древо и стала петь Птица. И всякое перо её – иное и сияет цветами разными, и стало в ночи, как днём. И поёт она песни, (призывая) к борьбе и битвам, и мы идём сражаться с врагами.

Тут корова Земун идёт на поля синие, и начинает есть траву ту и молоко давать. И течёт то молоко по хлябям небесным, и звёздами сияет над нами в ночи. И мы видим то молоко, что сияет нам, и это – путь Правы, а иного мы иметь не должны.

Услышь, потомок, (песнь) Славы и держи в своём сердце Русь, которая есть и пребудет землёй нашей. И мы должны оборонять её от врагов и умирать за неё, как день умирает без Солнца-Сурьи.

Тогда наступает темень и приходит вечер, а умирает вечер – приходит ночь. И в ночи Велес идёт в Сварге по Молоку Небесному, и идёт в чертоги свои, и садится у Звёздных врат.

Отцам нашим и Матерям – Слава, которые учили нас чтить богов наших и вели за руку по стезе Правы. Так мы шли и не были нахлебниками, а только славянами, русами, которые богам славу поют и потому – суть славяне».

«Велесова книга» – Священное писание Славян

«Что бы с тобой ни случилось, помни: у тебя есть самое главное – твоя честь и твоё человеческое достоинство, которых никто у тебя не может отнять, и никто не может их уронить, кроме тебя самого».

Светлана Левашова «Откровение»

Казалось, в тот вечер весь их город покинул свои дома – столько было кругом народа! Разнаряженная молодежь пятнадцати-двадцати лет бодро расхаживала вверх и вниз по цен-

тральной городской улице, улице Ленина традиционно, ожидая начала танцев; люди постарше толпились группами на обочине, с интересом рассматривая и обсуждая идущую им на смену поросль. Тут же рядом на тротуаре стояла одетая в белую парадную форму милиция, дружинники, руководители города, следившие за гулянием, за порядком.

Шум. Суета. Толчея. Возбуждённые лица.

И среди этих лиц, выхваченных из темноты золотисто-жёлтыми фонарями, беспрерывно появлялось её лицо – болезненное, мрачное, незнакомое, по-стариковски в тёмный платок укутанное, так что ни волос, ни шеи было почти не видать. Только одни глазищи!

“Господи, что это с ней?! – с трепетом думал он, не сводя с возлюбленной удивлённых глаз. – Пальто это чёрное, чёрный платок, глаза больные, измученные! Что за траур нелепый и неуместный?! – сегодня же праздник!... Помнится, год назад ещё такой красавицей пышной была – яркой, дородной и круглолицей! А теперь вон в кого превратилась... Бедняжка!... Может, случилось что? – болеет, может, и нужно помочь? Не просто же так она всё вокруг меня крутится”.

Он никогда не видел, не помнил её такой – взрослой уже, предельно усталой женщиной. Тревожной скорбью веяло от её облика, и особенно – от её пугающе-черных глаз, в которых столько горя читалось, столько отчаяния. Его так и подмывало броситься ей навстречу и, схватив её за руки, остановить и расспросить обо всём; а заодно и приободрить по возможности, развеселить, успокоить, утешить.

Но рядом были товарищи: неудобно было при них. Да и она, на мгновение вынырнув из темноты, быстро вдруг исчезала куда-то, что он не успевал даже заметить – куда... Потом неожиданно появлялась опять – то одна, то плотно подружками окружённая: вся в чёрном, траурном, мрачном, – и опять, не мигая, пристально смотрела на него тоскливыми огненными глазами – так, будто бы укоряла в чём-то... и, одновременно, о чём-то очень сильно просила...

Холодное как лёд стекло электрички, вагонного окна её, назойливо прикасаясь к виску на очередном изгибе дороги, приостанавливало видения и грубо, почти силком выводило Стеблова из дремотно-болезненного состояния. Он вздрагивал, морщился, просыпался и, приоткрыв покрасневшие от бессонной ночи глаза, окидывал мутным взглядом вагон, в котором всё оставалось по-прежнему, как на момент посадки, в котором не менялось почти ничего, как в музее заброшенном. Люди всё также вяло сидели вокруг, дремали, зевали, завтракали, от скуки болтали о пустяках, играли от нечего делать в карты; потом целыми группами выходили в тамбур курить и стояли там с сонным видом по полчаса, ожидая конца поездки. Концом же была Москва, до которой ещё было ехать и ехать. И Вадим, не спавший всю ночь, вздыхал тяжело, обречено, машинально склонял к груди гудевшую от последних событий голову – и опять закрывал слипавшиеся глаза, чтобы отдохнуть хоть немного, выспаться, а заодно и сократить во сне длинную до Первопрестольной дорогу.

Но едва он их закрывал, едва успевал заснуть и забыться, как весь вчерашний день, в полном объёме и красках, пред сонным, разворачивался перед ним, как разворачивается перед ошалевшим зрителем чья-то личная драма на широкомасштабном экране. Он отчётливо видел опять свой празднично украшенный город, демонстрацию первомайскую, массовую, и народные гулянья с танцами, закончившиеся глубокой ночью; видел мать, отца, брата с сестрой, родственников многочисленных за столом, зашедших к ним посидеть после той демонстрации... И над всем этим калейдоскопом событий отчётливо и властно проглядывал болезненно-мрачный облик Чарской, как тенью заслонявший собою их, эти события омрачавший и перечёркивавший. Изматывающим, давящим на мозг и нервы рефреном звучали её последние ему слова: **«никогда не заставляй любящую тебя девушку ждать, Вадик! – слышишь меня?! – никогда, никогда, никогда!»**... Уязвлённый ими Стеблов, вконец измученный и издёрганный,

тяжело просыпался в очередной раз, выпрямлялся, тёр ладонью глаза, тряс головой очумело, что есть мочи желая спастись от навалившегося на него кошмара. Но всё без толку...

И так продолжалось с ним всю дорогу, все шесть с половиной часов, – такая нестерпимая для молодого паренька пытка. И только Москва со своей кутерьмой, как лавина куда-то несущаяся и властно всех увлекающая за собой, дух не дающая перевести и расслабиться, не то что о чём-то подумать и помечтать, распустить нюни и сопли, сумела-таки защитить его от вчерашнего – от событий поистине драматических, болезненных воспоминаний о них, к которым примешивались чувства вины и стыда, и на себя самого досады. Экзамены же за первый курс и студенческий стройотряд – с романтикой трудовых буден, песнями у костра под гитару, молоденькими девушками-однокашницами рядом, озорницами и хохотушками по преимуществу, прелестницами и баловницами, – окончательно излечили Стеблова от навалившейся вдруг хандры. И ему показалось тогда – уже осенью того памятного во всех отношениях года почему-то вдруг показалось, – что с детством покончено навсегда и, одновременно, навсегда покончено с ней, *первой его любовью*...

Глава 1

*«Но песня – песнью всё пребудет, в толпе всё кто-нибудь поёт.
Вот – голову его на блюде царю плясунья подаёт;
Там – он на эшафоте чёрном слагает голову свою;
Здесь – именем клеймят позорным его стихи... И я пою...»*
Александр Блок

1

Всё началось у них на собрании, первом для семиклассников, что проводилось в актовом зале их школы в десятых числах сентября – в начале первой четверти. *Бабье лето* стояло тогда на дворе – желанная, золотая пора, пора поэтов, мечтателей и влюблённых, да и просто всех честных тружеников земли, когда хорошо и спокойно живётся, работается и отдыхается, не думается о плохом: Мать-природа этого не позволяет. Настроение у всех приподнятое, а часто и торжественное в это время, сердце уверенно, ровно стучит, мир песнями и плясками наполняется, возвышенными стихами и прозой – оттого, что человек видит вокруг тучные сады с огородами, что ломаются от фруктов и овощей, столы и амбары, что трещат от хлебов и снеди. Как тут душе не петь, не предаваться счастливым мечтаниям – при таком изобилии?! Даже перебесившееся солнце на небе хотя и готовится к отходу и “спячке” – но всё ещё щедро шлёт на землю последнее своё тепло и при этом будто бы говорит всем смертным: всё, хватит, устала, отдохнуть хочу, жара и сил набраться. Берите-де солнечных лучиков, пока я добрая, пока ещё тут, запасайтесь впрок; а то ведь до весны расстаёмся...

Три одноклассника, три друга, ученики седьмого класса “А” Б-кой средней школы №4, звали которых Вовка Лапин, Серёжка Макаревич и Вадик Стеблов, провозившиеся в буфете, на собрание опоздали. Торопливо поднимаясь с набитыми пирожками ртами по лестнице на четвёртый этаж, где располагался их актовый зал, они ещё издали услышали сквозь плохо прикрытые двери назидательно-властный голос завуча школы и, одновременно, их учительницы по русскому языку и литературе, Старыкиной Елены Александровны, по привычке кого-то уже распекавшей. Да так, что слышно было далеко окрест. «Учебный год уже почти две недели как начался, а они всё дурака валяют! с каникул мысленно всё никак не вернутся, пляжей и дач! – со всей страстью выговаривала она собранию. – А кое-кому уже и учёба, видите ли, наскучила: опять им каникулы подавай, трутням и лежебокам! Смотрите, я быстренько вас встряхну и приведу в чувства! окончания четверти дожидаться не стану!...»

Настроение завуча ребят испугало, заставило бежать быстрее, быстрее дожёвывать пирожки: уж очень не хотелось никому из них испытывать лишний раз её гнев душевный, слушать в свой адрес выговоры и оскорбления. Женщиной Елена Александровна была хоть и доброй, в целом, порядочной, умой, отзывчивой, достаточно справедливой со всеми, требовательной и прямой, – но и была при этом при всём излишне вспыльчивой и горячеей, в моменты гнева терявшей контроль над собой, порою даже и блажить начинавшей, свирепо сверкать глазами и невольно сжимать кулаки. Разозлить её, вывести из себя было легче лёгкого: она вскипала и взрывалась по малейшему поводу. И тогда держитесь обидчики и хулиганы, нарушители дисциплины и двоечники, затыкайте уши покрепче, прячьте под парты головы от греха. Разозлённая, она не выбирала слов, эмоций своих не сдерживала! – статус завуча подобное позволял. Поэтому даже и от отличников или блатных сынков, попадавших ей иногда под горячую руку, только пух и перья разлетались по школе; даже и им, красавцам и баловням, привыкшим к славе и почестям, и к уважительному со стороны учителей обхождению, доставалось от неё “на орехи”.

Друзья наши про это знали: всё ж таки третий год учились уже у Елены Александровны, изучили её хорошо, – потому-то и неслись на собрание во всю прыть. Но, тем не менее опоздав и смутившись порядком, попытались было пробраться в зал незамеченными.

Сделать им этого, однако ж, не удалось: уж слишком большое расстояние разделяло входные двери и располагавшуюся справа от них сцену, перед которой на длинных ровных рядах новеньких деревянных кресел, спиной к вошедшим, сидели их товарищи-семиклассники; слишком огромным было пустовавшее между входом и сценой пространство. Как три

берёзки белые посреди голого поля выглядели опоздавшие на нём перед недобро сощуренными очами завуча.

– Наше начальство как всегда задерживается! вместе со всеми не может прийти! – услышали они недовольный голос Старыкиной, едва только шедший первым Серёжка показался в дверях, едва переступил порог зала.

Зал хохотнул, пришёл в движение, повернулся всеми многочисленными головами назад, опалил смеющимися глазами вошедших. Кто-то с последнего ряда даже пустил по их адресу какую-то пошлую шутку.

Пристыжённые подобным к себе вниманием и всеобщим смехом парни, оробевшие и оконфуженные, сгрудились на входном “пяточке”, устроили там небольшую давку. После чего, совладав с собою, в спины подталкивая друг друга, почти бегом пересекли по кратчайшей прямой зал и быстро уселись рядком на боковые кресла у противоположной от входной двери стены. Кресла эти, стоявшие боком к сцене, предназначались, строго говоря, для родителей или для гостей школы и потому самими школьниками занимались редко: учителя их за это ругали. Но искать себе мест на положенных им перед сценой рядах опоздавшие не решились, не посмели неизбежными при этом грохотом и вознёй окончательно вывести из себя сурового и уже взведённого кем-то завуча.

– Так, тихо всем! продолжаем собрание! – властно скомандовала мрачная Елена Александровна, недовольная, что её перебили... и потом добавила, мельком и подчёркнуто грозно взглянув в сторону опоздавших: – А вы, троица святая, ещё раз такое себе позволите – можете на мои собрания не приходить. К директору сразу идите – пусть **он** с вами беседы проводит: он у нас это любит.

Зал мгновенно утих, приняв надлежащие позы, и Елена Александровна со сцены продолжила прерванное выступление. Больше её в тот день никто уже не прерывал...

А наши опоздавшие герои, довольные, что отделались малой кровью (учебный год тогда только-только начался, и Старыкина, на их счастье, не была ещё сильно измотана), – опоздавшие отдышались быстро, отошли от выговора и беготни, оправились, поудобнее сели, портфели на пол поставили, чтоб не держать в руках. После чего, почти синхронно повернув налево головы, принялись дружно вслушиваться в то, что говорилось со сцены: про учёбу хорошую и дисциплину, упорство, самоотверженность и самоконтроль, без которых-де разгильдяям и двоечникам, у кого эти качества напрочь отсутствуют, в будущем тяжело придётся. Всё это говорилось и слышалось не единожды, было до боли знакомо присутствовавшим, оскомину давно набило – и потому вызывало одну лишь скуку в зале, если не сказать тошноту. Указующий перст, как и кнут или палка, душе человеческой мало чего дают. А уж детской душе – и подавно.

“Исторические примеры ценнее, чем поучения мудрецов”, – наставлял когда-то своих соотечественников китайский философ Конфуций, совершенно правильно, надо сказать, наставлял, зрел что называется в корень. Прислушались бы к нему учителя хоть чуть-чуть, – может им и работать было бы легче...

Друзья, уже отсидевшие до этого пять уроков и порядком за партой намучившиеся, скоро запарились в душном зале, закисло и заскучали, и наверняка стали бы вертеться по сторонам – “ворон ловить”, как тогда говорили, – сиди они как положено – перед сценой. Боковые же сиденья давали им преимущество: вертеться не нужно было. А надо было просто сесть прямо, как все сидели, прямо поставить голову, – и тогда сцена с завучем оставалась сбоку, вне поля зрения парней. Впереди же, на противоположной от них стороне, располагался другой ряд гостевых кресел. И на этих креслах – как по заказу – торжественно восседали три девочки из параллельного седьмого “В”, визуально друзьям знакомые. По-видимому, и они на собрание опоздали, только чуть раньше пришли. Поэтому и сидели сбоку. И ещё с уверенностью можно

было предположить, что и их не заинтересовали нотации выступавшей учительницы, ввиду чего, скучающие, они выпрямились на своих местах и давно уже с любопытством и ухмылками наблюдали за вошедшими сразу же после них парнями.

Девочки были интересными внешне, пожалуй что самыми интересными среди присутствовавших семиклассниц, дурнушек и простушек по преимуществу. Все три рано повзрослевшие и развившиеся, достаточно высокие, крупные, статные, с правильными, почти уже женскими формами лиц и тел, – они заметно выделялись на фоне остальных своих угловатых и невзрачных подруг, привлекая им на зависть внимание большинства пареньков школы. Там действительно было на что посмотреть: в седьмом классе “А”, во всяком случае, таких пышных красавиц не было и в помине...

Ну а дальше произошло то, что и должно было произойти, к чему так склонна по природе своей чувствительная человеческая натура: три красивые, скучающие без дела подружки, а напротив них – молодые и тоже заметно скучающие парни. Между ними – пустое пространство зала. Великий закон гетеросексуального притяжения, такой же реальный, действенный и могучий, как и закон гравитации например или то же солнышко за окном, затылки парням припекавшее, вступил в свои наследственные права, сиюминутно приведя в действие подвластные ему силы.

Поймав на себе игривые девичьи взгляды, прямо на них направленные, задетые за живое друзья, которых в открытую провоцировали, как-то сразу забыли про школу, завуча и собрание, что проводилось для них. Они, в свою очередь, сами стали с интересом рассматривать сидевших на противоположной стороне подруг: поначалу робко, суетно и неуверенно; потом – всё твёрже, смелее, развязнее.

Между парнями и девушками началась игра, знакомая каждому смертному игра в переглядки. Как-то само собой образовалось три соревнующиеся пары – без перекрёстов, кто напротив кого сидел...

Стеблову Вадик у выпало сидеть перед круглолицей брюнеткой с огненными как у пантеры глазами, обильными веснушками на лице, губками полными, чувственными, которую он визуально уже хорошо знал и которая втайне ему даже нравилась. Встречая её в коридоре на перемене или после уроков на школьном дворе, или в столовой той же, он всегда выделял её из толпы за внешность яркую и породу, за весёлый беспечный нрав и смех заразительный, звонкий, заглядывался даже на её ладненькую фигурку, платьицем плотно обтянутую, особенно – на стройные ножки, украшенные модными туфельками на каблукках, которые она часто меняла.

«Надо же, какая красивая!» – всегда с восхищением думал он в те памятные для него минуты, останавливаясь и замирая на месте, потом машинально оборачиваясь назад и провожая прищуренным взглядом свою обожаемую, стараясь получше её рассмотреть, фигуркой девушки полюбоваться, за что не единожды высмеивался друзьями, и даже кличку *бабник* от них получил... А потом эта девушка, судя по её дорогим вещам и нарядам, взгляду надменному, барскому, была, по-видимому, из очень богатой семьи, что опять-таки поднимало и возвышало её в глазах Стеблова, придавало ей дополнительный шарм.

Но мимолётные встречи те ничем у них не заканчивались. И девушка, скорее всего, даже и не знала невзрачного и простоватого Вадика, слухом не слыхивала про него. Его товарищи школьные, те же Лапин с Макаревичем, быстрее могли приглянуться и понравиться ей, разбудить-растревожить её девичье сердце. Ребята они были красивые, яркие оба, холёные, сытые, важные, всегда хорошо одевались, дорого стриглись с первого класса, оба вышли из богатых и знатных семей – имели в школе наивысший социальный статус. Стеблов же был простолюдином, в семье которого родители ходили в ватниках и валенках долгое время, вечно копейки считали, устраивали из-за каждой лишней потраты скандал. И одевался он бедно, и стригся

за самую низкую цену аж до восьмого класса – «под чубчик», как тогда называли у них его ненавистную стрижку, очень в плане экономии денежных средств выгодную, но внешне ужасно уродливую, от которой ему вечно плакать хотелось и долго на люди не показываться.

Но так уж случилось – Судьба распорядилась так, – что именно Стеблов сидел тогда перед ней, и именно ему улыбнулось счастье быть соперником норовистой, черноокой и чернобровой красавицы...

Встретившись первый раз с её немигающим цепким взглядом – дерзко-лукавым, почти вызывающим, страсти и силы полным, молодого задора, огня, – он смутился до крайности, вспыхнул краской стыда и, как ужаленный, завертелся в кресле, быстро голову опустил, под ногами своими будто что-то выискивая, что выглядело очень забавно со стороны, если не сказать потешно. Самому ему только забавно и потешно не было: не привык он ещё, был зелен, неразвит и непорочен, чтобы выдерживать запросто девичий пристальный взгляд, чтобы иметь против взгляда того защиту.

Однако же любопытство великое и озорные товарищи сбоку раскиснуть и прервать игру не давали – локтями упорно толкали вперёд, своими подколками и советами раззадоривали. И он, собравшись с духом и силами, нервную дрожь кое-как уняв, опять тогда поднял голову и опять, столкнувшись с прямым, настырным взглядом соперницы, не выдержал – опустил глаза... У него перехватило дыхание от волнения, сердце сойкой встревоженной забилося, затрепетало в груди, наружу норовя выпорхнуть. Ощущение, испытываемое им в тот момент, было так ново и так неожиданно остро, что потребовались силы, много сил, чтобы справиться с ним, пережить, переварить его в своём ошалело-забывшемся и защемившем сердце...

Повертевшись на сиденье нервно, с друзьями краями губ пошептавшись, как и он своими соперницами по игре до крайности взбаламученными и возбуждёнными, растревоженный и взволнованный Вадик, воздуху в грудь набрав, в третий раз после этого робко взглянул вперёд и в третий раз столкнулся с направленным на него взглядом – дерзким по-прежнему и вызывающим, лукавым, огненным, волевым. Дерзость эта бесцеремонная, граничившая с хулиганством, так поразила Стеблова, по самолюбию крепко ударила, – что и он в ответ, взбунтовавшийся и ошетилившийся, вдруг неожиданно осмелел. Весь сжался, нахохлился как петух – и не отвёл глаз: «что ж я, слабее тебя что ли, подруга?» – игриво подумал. После чего мужественно принял брошенный ему с противоположной стороны вызов, истуканом в кресле застыл, не мигая уставившись на соперницу.

Это было реакцией на провокацию поначалу, такое его вызывающее поведение, которого он и сам не ожидал от себя, которое было в новинку. Но потом он увлёкся игрой, да ещё как увлёкся!

Борясь со страхами детскими и стыдом, краснея как маков цвет и, одновременно, мужая, раззадоренный дерзкой девчонкой Вадик, с головой окунувшийся в её темноглазый омут, впервые в жизни почувствовал внутри себя неизъяснимую и невыразимую никакими словами истому, острее, желаннее и слаще которой он ничего не испытывал прежде, про которую не подозревал! Та истомы утробная пробирала его до костей, доходила до коленок, до пяток даже, волосы теребила и поднимала на голове, сводила судорогой низ живота, сердце холодом своим останавливала! Вот что творили с ним колдовские девичьи очи, в открытую над ним издевавшиеся и посмеивавшиеся, с полчаса уже провоцировавшие его, словно бы проверявшие его на прочность: выдержит он – не выдержит? мужик – не мужик? стоящий или же так, слизняк мягкотелый, мокрица?

По-хорошему, послать бы ему тогда эту игру и “проверку” к чертям и отвернуться налево к сцене. Спокойно завуча своего посидеть и послушать, перед ними, свиньями неблагодарными, уже около часа “бисер” со сцены метавшую. После чего подняться, когда Старыкина разрешит, и спокойно уйти домой безо всяких проблем и последствий. Всё это было бы куда полез-

нее и здоровее ему, девчонок всегда сторонившемуся и не дававшему им со своей стороны даже и слабых намёков, которые можно было бы неверно истолковать и о любовных глупостях начать думать... Но делать он этого не захотел почему-то, замороженно в кресле застывший, не захотел отворачиваться и уступать, прерывать игру развлекательную, идиотскую. Наоборот – хотел уже, чтобы она длилась и длилась! Потому что нравилась ему игра при всей её примитивной пошлости! сильно нравилась!

И на соперницу свою он готов уже был, не переставая, смотреть, хотел, чтобы не отворачивалась, не отвлекалась она, чтобы пореже подружки бедовые разговорами её отвлекали! Она такая красивая в тот день была – после долгого летнего отдыха, – ухоженная, выпавшаяся, загорелая! Она буквально светила вся здоровьем, жизнью и счастьем!... А глазки какие у неё были в момент игры! – огромные, в пол-лица, как вода родниковая чистые, уверенность в себе излучавшие, жажду жизни, любви! Он проваливался в них как в бездну, был в точности на юного парашютиста похож, что совершал свой первый в жизни – но только душевный – прыжок!

Ему и страшно до жути было, и сладко одновременно. И коленки от страха дрожали и дёргались, в узел скручивало живот. И дух захватывало словно тисками железными, ледяною коркой покрывалась спина! Но вместе с этим страхом и холодом внутри ещё и такой пьянящий восторг присутствовал, который перекрывал-пересиливал всё: все страхи, бурления и опасения, – который один был сильнее их всех! один всех тех страхов стоил!

Был и ещё один крайне любопытный момент, не укрывшийся от цепкого взгляда Стеблова. Пожирая глазами сидевшую напротив девчонку, он через какое-то время подметил, как её искрящиеся тёмные глазки, беспечные и игривые поначалу, даже и дерзкие где-то, по-барски самонадеянные, – глазки эти хитрющие под его пристальным взглядом перестали надменничать и веселиться, и, как по команде чьей-то, неожиданно сузились и напряглись, вроде как затуманились даже. И из надменно-лукавых и гордых, как крепость древняя неприступных, быстро превратились в задумчиво-мягкие, нежные, не по-детски серьёзные и внимательные. Он видел, как менялась его соперница по игре и под конец уже и про подружек своих позабыла, и уже не общалась с ними совсем, как прежде не шушукалась и не переговаривалась, игру стихийную не обсуждала. В кресле неподвижно застывшая, она также всю себя посвятила ему. Она, как и он, ловила каждую секунду их абсолютно случайной встречи...

Прозвеневший звонок, однако, и последнее слово завуча прервали их первое безгласное знакомство, но не прервали их отношений вообще, как это случилось с Вовкой и Серёжкой и их визави, всего один-единственный раз только и решившими поиграть-побаловаться с парнями, озорно потешиться с ними от скуки, подразнить-раззадорить их. Заключаться же отношения стали в том, что Стеблов с друзьями после того памятного собрания регулярно начали замечать возле своего класса ту роскошную брюнетку из седьмого “В”, что сидела напротив Вадика и всё собрание отчаянно пыталась сломить его, околдовать, вскружить голову. Как куклу безвольную, гуттаперчевую подхватив под ручку одну свою пухленькую одноклассницу, некрасивую, но очень добрую и покладистую по виду, которую Стеблов тоже знал, первая красавица школы и первая её невеста по несколько раз в день на переменах стала пробегать мимо них, всякий раз при этом бросая на Вадика пламенно-пылкие взгляды, так хорошо запомнившиеся ему... и полюбившиеся... Эти взгляды частенько стали обжигать Стеблова и после занятий, когда он, возвращаясь домой из школы в компании своих дружков, на другой стороне улицы вдруг замечал эту девочку, неотступно шедшую следом по соседнему тротуару и не спускавшую с него цепких внимательных глаз, жар которых он всю дорогу на себе чувствовал. Дойдя до очередного перекрёстка, где ей нужно было сворачивать и идти домой, она останавливалась на его середине и долго стояла там, недвижимая, неотступно за ним наблюдая, – до тех пор, пока он

не исчезал из вида, в проулок свой не сворачивал. И только лишь после этого она трогалась с места, мечтательно по сторонам посматривая, улыбаясь краями губ и грустя...

Такое поведение, естественно, не скрылось от глаз и незамеченным не осталось ни для героя нашего, ни для школьных приятелей его, Лапина и Макаревича, всегда толкавших Вадика в бок, когда та девочка вдруг появлялась рядом. Очень быстро выяснились имя и фамилия воздыхательницы – *Лариса Чарская*. Выяснилось также, что она – дочь прокурора города, единственная его дочь; живёт с родителями в престижном четырёхэтажном доме на улице Ленина, половина окон и балконов которого выходили на главную городскую площадь с памятником вождю посередине.

– Смотри, Вадик, засудит тебя её папаша в случае чего, упрячет в Сибирь или даже дальше, – стали шутить после этого Серёжка с Вовкой всякий раз, когда замечали на улице идущую за ними следом Ларису.

– А я что? – краснея, смущённо отвечал на это Стеблов. – Я ничего...

Но он лукавил, говоря «ничего», – потому что то собрание первое в начале года и стихийно устроенные переглядки и для него не прошли бесследно: что-то такое особенное зародилось и в его душе. Появление Чарской возле их класса – всегда ухоженной, яркой, красивой, пристально на него смотрящей, – волновало и вдохновляло его, вносило в его повседневную жизнь, довольно-таки серую и однообразную в основном, скучную и монотонную, некий элемент праздника, толику счастья. Да и – что там греха таить! – немало тешило его детское самолюбие, гордостью отзывалось внутри. Не без этого!

Он втайне ото всех стал уже ждать Ларису – в коридоре ли на переменах, в столовой, раздевалке или на улице, – искать глазами её. И огорчался, когда в какой-нибудь день не видел эту девочку подле себя, считая тот день потерянным... Огорчался – но сам ничего не предпринимал для увеличения количества подобных встреч, словно бы уже тогда понимая, что праздник тем и отличен от буден, что происходит не каждый день и служит человеку наградой за что-то...

2

Так вот и потекла с тех пор его школьная жизнь – простая, тихая, неприметная, – которую неожиданно-негаданно вдруг стали скрашивать изо дня в день, будоражить и осветлять как лучики света «тёмное царство» регулярные появления Чарской. Два года целых она ходила к нему и за ним, незаметно приучая его к своему присутствию. Два долгих года, как солнце весеннее, подпитывали и подбадривали его её любящие, предельно-нежные взгляды. Нескандально преобразившись сама, она и его за это время преобразила, невольно заставила подтянуться и детство сбросить, посерьёзнеть, повзрослеть, поумнеть. Приучив Стеблова скучать без неё, она, скучая вдвое, а то и втрое больше, искала любую возможность, любой момент быть поближе к нему, – она уже жалела даже (так она говорила подругам), что училась с Вадиком розно.

Сам же Вадик лишь поражался упорству, с каким Лариса преследовала его в седьмом и восьмом классах; и, одновременно, гордился ей, её бескорыстными к нему чувствами. Он хорошо видел подвиги её во имя этих чувств – и на всю жизнь запомнил её тогдашние ради него жертвы... И глаза её он помнил потом всегда, страстью и нежностью полные; особенно помнил те дни, когда имел счастье купаться в них, словно в бездонных озёрах, долго-долго.

Не часто это ему удавалось, не часто благоволила к нему Судьба. Но даже когда и выпадал момент, он, дурачок простодушный, от такого счастья дарованного и дармового как зайчик трусливый бежал, “долго-долго” как раз и не мог его выносить: довольно быстро им наедался и пресыщался. Потому что слаб был ещё и неразвит, зелен, неопытен, непорочен; потому что психологически, да и физиологически тоже, созрел по отношению к противоположному полу катастрофически медленно.

Потом он, конечно же, повзрослев, силы мужской набравшись, страшно сожалел об этом и тосковал, кусал локти в особо-тягостные минуты. Но воротить назад, воскресить счастье детское и блаженство ни с чем несравнимое было уже нельзя: ушедшие, они назад не возвращаются...

И оставалось ему, горемычному, “Лазаря петь”. Понимай: восстанавливать в памяти наиболее яркие моменты их неслучайных с Ларисой встреч, по многу раз прокручивать их в голове и наслаждаться хоть так, в суррогатно-призрачном виде, школьным радужным прошлым. Как и тем морем нежности, первых сердечных восторгов, любви, что безвозвратно исчезли с ним, которыми бы он мог тогда – да не захотел воспользоваться...

Седьмой класс. Середина зимы. Двухнедельные каникулы зимние.

На каникулах их седьмой “А” в полном составе возили на школьном автобусе в областной центр – на новогоднее праздничное представление, что в здании областного цирка для детишек традиционно устраивалось. Дорога была дальняя, снежная, муторная: полтора часа в один конец. Устанешь даже и сидеть на попе.

Стеблов, Макаревич и Лапин туда и обратно сидели на последнем в салоне ряду, спиной к водителю и учительнице, что сопровождала их, лицом же – к задней площадке автобуса; шутили, смеялись, рассказывали анекдоты и небылицы всякие, или просто смотрели по сторонам, измучившись под конец страшно.

И можно только представить, как измучилась Чарская, столбом простоявшая все три часа на трясей и дребезжавшей площадке и не спускавшая со Стеблова глаз, ни разу тогда не присевшая.

Как она, учившаяся в параллельном классе, попала к ним? от кого выведала про ту поездку и с кем сумела договориться? – Бог весть! Загадка непостижимая и необъяснимая! Но

только сама поехала, да ещё и потащила с собой свою подругу безвольную, беспрекословную, Чудинову Людмилу, которую под ручку водила везде – и в школе четвёртой, и дома...

* * *

И здесь будет самое время и место нам с Вами взять паузу, дорогой Читатель, и про Люду Чудинову парочку слов сказать, скромную героиню повести, с которой Чарская дружила с детства, с четырёх с половиной лет, а точнее – с того момента, как родители их получили квартиры в одном доме на площади. Только Чудиновы, в отличие от Чарских, въехали в новый дом вне очереди, как многодетная семья; Людмила была в семье пятой, самой младшей, дочерью. Была она ровесницей Ларисы с разницей в возрасте в пару месяцев, и неудивительно поэтому, что девочки сдружились уже в первый на новом месте день, когда встретились во дворе в песочнице.

Чудиновы получили квартиру в соседнем подъезде на первом этаже, были простые работающие люди, богатым и чопорным Чарским не чета, к тому же – люди пьющие. Поэтому отец Ларисы, уже тогда ответственный работник прокуратуры, не очень-то и одобрял любую с ними связь, недовольно бурчал всякий раз при упоминании соседской фамилии. Но дочери его, наоборот, тихая Людмила нравилась – за то уже, что простой и скромной, неизбалованной и некапризной была, и сразу же стала смотреть на воображалу Чарскую снизу вверх, ловить, широко раскрывши рот, каждый её жест и слово, любое её поручение выполнять, просьбу, приказ, капризу. Лариса поработила скромную Люду в два счёта, взяла над ней полную власть, почти сразу же, с первых минут сделавшись духовным лидером её, безоговорочным вождём-предводителем. Она таскала подругу-ровесницу по городу, магазинам и парку, водила к себе домой постоянно, где с удовольствием хвасталась перед ней вещами модными, дорогими, игрушками-побрякушками, книгами; а заодно и кормила вечно голодную Люду дорогими конфетами и пирогами, поила сладкой газированной водой.

Мать Ларисы, Вероника Натановна Чарская, дружбе их не препятствовала, потому что и ей уважительная и скромная Люда пришлась по душе, чем-то полюбилась даже. Да и не было в их новом доме других девочек-ровесниц, с кем Лариса могла бы общаться, дружить... Потому-то Вероника Натановна и не мешала детям, потому и принимала у себя с удовольствием маленькую соседку. Она помогала бедно жившей Людмиле всем чем могла, отдавала ей игрушки и вещи Ларочки (в семье Чарских так называли дочь), в которые та не хотела уже играть, которые носить не желала. Она даже продуктами и деньгами иногда помогала Чудиновым, когда глава их семейства, каменщик местного СМУ, срывался и уходил в запой, когда семейство его буквально нищенствовало.

Неудивительно, что принимавшие помощь соседи молились на Чарских и разрешали их дочери делать буквально всё, когда та приходила в гости. А сама Людмила, гордившаяся дружбой такой, готова была из кожи вылезти, лишь бы только красавице Ларочке угодить, сделать ей, капризнице и своевольнице, что-либо приятное...

* * *

Вот и в ту поездку в далёкий областной центр с чужим, как ни крути, классом Людмила отправилась по настоящему уговору Ларисы, хотя и не была в восторге от этого. И по её же требованию простояла все три утомительных дорожных часа на задней трясушейся площадке – под насмешливо-удивлёнными взглядами всего седьмого “А”, не понимавшего тогда совсем, отчего это две чудачки залётные всю дорогу, как привязанные, сзади стоят, когда в автобусе столько свободного места... Но Ларисе необходимо было постоянно видеть Вадика, усевшегося с друзьями сзади, – ради этого она, собственно, и поехала. А чтобы желание это не выгля-

дело так откровенно с её стороны, она и поставила рядом Людмилу – в качестве прикрытия и сопровождения.

Чарская сильно устала под конец: это было видно по её измождённо-осунувшемуся лицу, почерневшим глазам и гримасам болезненным, что она всю дорогу пыталась скрыть. Впереди же, возле кабины водительской, были пустые места, на которые можно было присесть отдохнуть, вытянуть отёкшие ноги... Но она не ушла с площадки, Стеблова не бросила. И, ни разу сама не присев, не позволила присесть и подруге, также к концу поездки еле на ногах державшейся.

Зато всю дорогу туда и обратно она обжигала Вадика пламенным взглядом своих чарующих глаз и, как казалось ему, просила, умоляла о встрече: в цирке ли на торжествах, в родном ли городе после поездки. О том же самом Стеблову нащёптывали и сидевшие рядом друзья, всё это хорошо видевшие и понимавшие.

Но Стеблов тогда так и не подошёл к Ларисе, не осчастливил, истомившуюся, её – потому что знакомство и последующая дружба с Чарской никаким боком не вписывались в его тогдашнюю вольную жизнь, его грандиозные детские планы. Смотреть на неё, издали восхищаться ей, гордиться её пламенным чувством – это, как говорится, было дело одно, приятное и необременительное; дружить же, любить и заботиться, проводить подле неё всё свободное время – дело, извините, совсем другое, которое ветрогону-Вадика категорически не нравилось и энтузиазма не вызывало...

Седьмой класс. Окончание его. Июнь-месяц.

Будущих восьмиклассников четвёртой школы всем составом командировали на сельскохозяйственные работы в одну из близлежащих деревень – помогать подшефному колхозу. Поехала Чарская со своим седьмым “В”, поехал Стеблов с одноклассниками.

Их трудовой лагерь расположился в лесу – на большой светлой поляне неподалёку от колхозного поля, сахарной свеклой засеянного, которую школьникам предстояло полоть. Жили дети в палатках, установленных в центре поляны двумя взаимно-перпендикулярными рядами, что сверху напоминали заглавную букву “Г”; между рядами для удобства хождения устроители лагеря оставили небольшой проход.

И опять Судьбе было угодно соединить Стеблова и Чарскую, поселить в соседние – угловые – палатки их. Причём так ловко, с тайным умыслом это сделать, чтобы входной торец палатки Чарской упирался в боковое окошко палатки Стеблова...

Две недели длились сельскохозяйственные работы, две недели существовал лагерь. И все две недели Лариса, возвратясь с прополки, просидела у своей палатки, не спуская прищуренных от солнца глаз, счастьем, любовью искривившихся, с находившегося прямо перед ней марлевого окошка Вадика.

– Ларис! Чего одна сидишь?! Иди к нам!... Вадик здесь, – ежедневно и по многу раз кричали ей через белую хлопковую паутинку Серёжка с Вовкой, жившие с Вадиком вместе и уже женихом дразнившие его, а Ларису – невестой.

Чарская, стыдливо порозовев, всегда опускала глаза в такие минуты, теребила нервно сорванный тут же на поляне цветок, но с места не трогалась, не убегала – сидела как вкопанная, ждала, когда её язвительные соседи наконец успокоятся... И когда насмешки с издёвками затихали действительно, и в палатке напротив устанавливалась относительная тишина, она опять поднимала глаза и опять настойчиво упиралась ими в заветную марлеву заплату-отдушину. И Серёжка с Вовкой, отъявленные проказники и озорники, получали повод в очередной раз похототать, поиздеваться над нею.

– Заканчивайте, парни, скалиться-то! Чего вы, в самом деле, к ней привязались? – жалея Ларису, увещевал Стеблов развеселившихся не в меру приятелей. – Шли бы вон лучше в лес погулять: какого рожна тут как привязанные торчите?!

– А ты сам-то чего лежишь? в лес не идёшь? – отставая от Чарской, переключались Макаревич с Лапиным уже на самого Стеблова. – Его там такая девушка который день дожидается, а он тут как крот сидит – книжки, видите ли, читает. Иди, пригласи её куда-нибудь: видишь, как она вся измаялась.

И они хватали лежавшего рядом товарища за руки и за ноги и начинали на полном серьёзе выпихивать его из палатки, все силы к тому приложив.

– Да отвяжитесь вы от меня, дураки! – яростно, как от вражины лютой, отбивался от них Стеблов, кулаками направо и налево размахивая без разбора, горячими тумаками густо осыпая дружков. – Вот прицепились!

Паренёк он был крепкий, жилистый. Уже и тогда – отменный спортсмен. И уступавшие ему в физическом развитии Лапин с Макаревичем, ушибленные плечи и спины почёсывая, быстро отпускали его, отползали со стоном прочь, чувствуя слабость свою и полную бесперспективность затеи вытолкать Стеблова на улицу, с Чарской его соединить. А через какое-то время, успокоившись и остыв, отдохнув от работ и обеда сытного, они и вовсе уходили в лес, оставляя Вадика одного в палатке. Уходили – и всю дорогу посмеивались над ним, таким упрямым и бессердечным.

Они уходили надолго и возвращались к ужину только: ежедневно ягоды собирали, играли в футбол, в волейбол, часами просиживали у костра, с девчонками амурничали и обнимались. И кто посмеет их осуждать за такое? – ведь было лето жаркое, девственный лес кругом, лагерь труда и отдыха на его поляне. А в лагере было много приятелей давних и очень миленьких и симпатичных подруг. И, главное, – было много-много у них у всех свободного на тот период жизни времени! Глупо было бы не воспользоваться таким дорогим подарком, упускать-транжирить золотые деньки, глупо и расточительно.

Серёжка с Вовкой и пользовались свалившейся на них свободой, пользовались сполна. Под вечер возвращались в палатку дурные, счастливые, утомившиеся, клубничкой, дымом, примятой травой пропахшие, не остывшие от поцелуев и ласк, песен, смеха и жара костров пылающих.

Что же касается их дружка упёртого, скромного, – то он из палатки своей почти что не выходил: сидел там после работы безвылазно до ужина и отбоя. Но те две недели июньские, жаркие крепко запомнились и ему, были и для него, домоседа, необычайно счастливыми и полезными. И ответственными за то были два человека – Лариса Чарская и Иван Александрович Гончаров с его знаменитым “Обломовым”, любимым литературным произведением матери Вадика, Антонины Николаевны, купленным той лет двадцать назад на стипендию. Роман матушка помнила почти наизусть, постоянно дома детям цитировала и рекламировала. Его-то её старший сын и захватил с собой, намереваясь за две недели осилить.

Тихая поляна в лесу, залитая ослепительным июньским солнцем, белоснежными берёзами окружённая с четырёх сторон и ветром ласковым обдуваемая, – идеальное место для Гончарова, близкого знакомства с ним и его героями, для погружения в атмосферу тех лет. Тепло и солнечно было вокруг, тепло и покойно – в романе. Именно душевную теплоту и покой почувствовал Вадик сразу же, с первых страниц, с удовольствием погружаясь в родную историю, мир русской жизни середины XIX века. Всё там было родное до боли, знакомое, великоросское! Всё услаждало, умиротворяло и убаюкивало, счастьем душу детскую заполняло, гордостью; заставляло “глотать и глотать” страницу за страницей. Гончаров своим неспешным повествованием на удивление мягко и органично ложился на сердце, и Вадик довольно быстро понял, что это – его писатель, и они подружатся. Он читал и думал восторженно, лишь на мгновения останавливаясь передохнуть, что права была матушка, безусловно права, заставлявшая их прочитать роман, утверждавшая не единожды по вечерам окружившим её детишкам, что в книжице этой – сам *русский дух* и “*Русью пахнет*”...

До главного в романе – отношений Обломова с Ольгой Ильинской – Вадик в то лето так и не дошёл, не успел дойти. И, по правде сказать, не очень-то и сожалел об этом. Их нежность трепетную и чистоту ему сполна заменила тогда Лариса Чарская...

Утомившись читать в полутьме, да ещё и разгадывать и понимать ушедшие в прошлое архаизмы – *фестоны, шлафроки и эспаньолки, Геркулесовы столпы и всё прочее*, – он откладывал в сторону книгу, тёр руками глаза, потягивался сладко, зевал, приподнимался с тугих физкультурных мат, что в лагере им заменяли кровати, и осторожно подкрадывался к единственному в палатке окошку – проверить будто бы, что в мире делается, всё ли на месте там. Часто-часто колотилось его сердечко всякий раз, когда он украдкой выглядывал в него, – потому что был абсолютно уверен, на физическом уровне ощущал присутствие рядом Ларисы.

Не единожды предчувствие не обмануло его – девушка всегда была рядом: сидела и упорно смотрела в его окно в течение всего светового дня, грустила чуть-чуть и мечтала. Она, как и он, никуда не ходила после работы – и ничего совсем не читала. Единственной страстью её, вероятно, и “книжкой” был живший напротив Стеблов, которого она две недели страстно высматривала в поле и лагере, знакомства и дружбы с которым ждала – и не скрывала этого.

Откинув брезентовый полог жилища, она сидела у входа своего крохотного лесного “домика”, грациозно положив на колени руки, и настойчиво смотрела вперёд, в самый центр оконного марлевого лоскутка стебловской палатки, что со стороны заплатку грязную напоминал, заплаткой и являлся по сути. Иногда в руках её был цветок – ромашка полевая или какой-нибудь лютик. Но чаще руки были пусты – красивые, белые, холёные руки, на которые хотелось смотреть и смотреть, и которые столько чувств вызывали, эмоций. Ухоженные руки женщины Стеблов и тогда, и потом больше всего ценил: для него это было верным знаком всегда благородства внутреннего и породы.

До Чарской было метра четыре, не более – только узкий проход разделял тогда их, да грязная марля. И оставленный всеми Вадик в течение четырнадцати дней получил для себя возможность до мельчайших подробностей разглядеть и изучить свою школьную обожательницу, вволю налюбоваться ей, никого не стесняясь и не боясь благодаря естественной маскировке.

Лицо её он очень хорошо тогда рассмотрел, крупное и холёное как и руки, с прямым греческим носиком посередине, ноздри которого то и дело вздрагивали и расширялись – будто бы она, не переставая, всё время на кого-то сердилась или даже презирала чуть-чуть. Переносица и щёки возле глаз словно золотой пылью были густо усыпаны жёлто-коричневыми веснушками; сами же глаза, как и небо над головой, были велики, глубоки и бездонны, неизменно задумчивы и умны, душевным огнём окутаны, страстями нешуточными, девичьими, которые уже и тогда пугали и могли бы, кажется, любого испепелить, воле хозяйки своей подчинить безоговорочно. Но особенно велики и сочны были алые губы девушки, в которых угадывалось столько страсти, столько душевных чувств, в которых проглядывал такой же сильный, взрывной и пылкий характер.

Голову Ларисы украшали сзади две тугие, одинаковых размеров косы, в тяжёлые кольца скрученные; спереди же её лоб обрамляли пушистые тёмные завитушки. Всё это так шло ей, так мило и просто было, и так грациозно одновременно, что у стороннего человека, если он только не конченный был негодяй, чистый лик девушки должен был вызвать исключительно одно лишь умиление и симпатию.

И плечи были широкие, крепкие у неё, и грудь тугая, девичья, уже заметно выглядывала из-под платья, говоря о скорой могучей силе, что будет струиться в ней! А уж как волновали Стеблова её полные ровные ножки, прямо перед ним на травке примятой лежавшие, – про то и передать нельзя! Ножки женские были его вечной слабостью, притягивавшие его как магнит и разума на долгое время лишавшие.

«Красивая она всё-таки, во всё красивая! Даже и в том как сидит и смотрит, как цветок в руках тербит! – с восторгом тихим и умилением думал счастливый Вадик, как мышка притаившийся у окна. – Я это сразу понял, когда её несколько лет назад впервые увидел: она и в младших классах, помнится, такой же красивой была, и очень на фоне остальных выделялась...»

И, затаивши дыхание, он подолгу простаивал на коленках, не шевелясь, сидевшей напротив Чарской любуясь... и не скоро, естественно, вспоминал про лежавшего рядом “Обломова”.

Э-э-х! выйти бы ему тогда из палатки и подойти, не робея, к ней; поздороваться, представиться, поклониться, взять за белые ручки решительно и увести её, истомившуюся от ожидания, в лес – от завистливых людских глаз подальше. И там, в лесной звенящей тиши и лесной прохладе, посреди изумрудных пахучих трав, периною для них расстелившихся бы, сполна насладиться ей: свежестью её молодой, девичьей ни с чем не сравнимой сладостью. Чего, казалось бы, было проще и для них обоих желаннее?!

Но трусишка-Стеблов за четырнадцать дней подвига такого не совершил и из палатки ради знакомства так ни разу и не вышел. И сам истомился, через марлю гляючи, и девушку ждавшую истомил... И даже расстроил её под конец, чуточку разочаровал и унизил таким своим поведением, очень и очень для неё странным, как ни крути, странным и оскорбительным.

Через себя самого, однако, он переступить не смог, через свою идеалистическую без меры натуру. Естество его природное, мужское, в начале восьмого класса силы и на четверть не набрало и разума ему своими эротическими порывами не замутило. И греха на душу он тогда не взял: оставил их отношения безоблачными и непорочными...

Когда сердечко трепещущее до краёв наполнялось девичьей ангельской красотой, когда уже ту красоту, как и хмель, не выдерживало, – опоённый счастьем и тихим детским восторгом Стеблов осторожно отодвигался от марли, ложился на маты животом вверх и тихо лежал так какое-то время с блаженной и глупой улыбкой – будто бы счастье Божие, дармовое, внутри себя переваривал.

Проходило минут десять-пятнадцать, прежде чем душа его одурманенная трезвела, осторожно спускалась с небес, с тихой радостью покидая горние ослепительно-голубые дали. Сознание прояснялось и восстанавливалось, разум раскисший креп, помноженный на бодрость духа, и Вадик вспоминал тогда про лежавшую рядом книгу... Тряхнув головой молодецки и глубоко, всей грудью, вздохнув, широко улыбнувшись и потянувшись, примятую подушку рукою взбив, он опять брал в руки увесистый том, раскрывал его на нужной странице и, не спеша, начинал читать дальше роман, погружаясь мыслями и успокоившимся сердцем уже в совершенно другую жизнь, давно минувшую.

Наступало время Гончарова...

В таком вот ежедневном чередовании приятного с полезным, своей собственной жизни и любви с жизнью чужой, стародавней, но всё равно безумно прекрасной и поучительной, и прошли для Стеблова Вадика те две июньские трудовые недели, Чарской и Гончаровым украшенные, – пока, наконец, появившийся однажды в лагере на исходе второй недели автобус “ЛИАЗ” ни увёз его, заболевшего, досрочно домой, в момент разрушив созданную писателем и прекрасноликой девой идиллию. И книжку он тогда не дочитал до конца, и с Ларисой не выяснил отношений – даже и попытки не предпринял, отложив и книжку и выяснения до лучших времён, которые, как надеялся он, обязательно когда-нибудь да наступят...

Восьмой класс. Осень. Конец первой четверти.

Перейдя в категорию старшеклассников, Вадик впервые тогда попал на бал, что ежегодно проводился у них администрацией школы для учеников восьмых, девярых и десятых классов... И на том балу, танцуя несколько раз с Ларисой, он первый раз в жизни держал её в своих

объятьях, жар и силу тела её ощущал, запах волос и шеи. И так ему сладко было при этом от девичьего жара и запахов, так томно на душе и волнительно – не передать! Можно с уверенностью сказать лишь одно: что по остроте и накалу чувств он с тем первым сердечным восторгом даже и любимый спорт ни за что не сравнил бы, в те годы доставлявший ему больше всего нешуточных страстей и переживаний.

Хотя, если первые минуты вспомнить, – всё складывалось не сладко, не радужно. Он здорово волновался и трусил, переступая порог гудевшего музыкой зала – такого знакомого и уютного в прежние дни и такого пугающе-грозного в тот октябрьский вечер. Ему даже показалось в первый момент, что он не выживет в такой кутерьме, такой пугающей “мясорубке”, и бугаи-старшеклассники его тут как букашку сомнут, затрут, затопчат, раздавят – и не заметят этого. А ещё показалось, что он самый молодой и невзрачный среди пришедших потанцевать пареньков, самый из них изо всех ненарядный и низкорослый. И делать ему на балу при таком плачевном раскладе по сути нечего. Он – лишний, случайный тут человек, на этом празднике жизни... Отсюда – и нервная в коленках дрожь, паника и смятение. От охватившей в первые секунды дрожи его даже и друзья не спасали, идущие рядом Лапин с Макаревичем, такие же бледные как и он, жалкие и трясущиеся.

Спасла его тогда Чарская, пришедшая с Чудиновой раньше их и уже поджидавшая его у входа. Что она именно его стоит и высматривает в толпе, возле дверей с подружкой караулит, он понял, как только её увидел. Это было заметно по её устремлённым на него глазам, счастьем и страстью вдруг вспыхнувшим, надеждой, к которым он уже так привык за последний год, как к глазам сестрёнки своей или матери... И от этого на душе стало легче, понятное дело, – комфортнее и веселей, – когда он почувствовал, что его ждут, и он здесь кому-то желанен и интересен!...

Вошедшие в актовый зал первыми Серёжка с Вовкой направились сразу же в дальний полупустой угол у противоположной от входа стены, где попросторнее и потише было, остановились и замерли на свободном пяточке лицом к сцене, на которой уже усердствовал их школьный вокально-инструментальный ансамбль и где от танцующих было не протолкнуться, по сторонам нервно принялись озираться, одноклассников глазами искать, с которыми им гулять безусловно повеселее было бы. Замешкавшийся на входе Вадик, успевший с Ларисой взглядами перекинуться, покорно пошёл следом, притулился рядом с ними в углу и к обстановке стал привыкать, вживаться в праздничную атмосферу.

Атмосфера же в зале была воистину “апокалипсическая”! Вокруг всё кружилось, звенело, гремело и пело, гудело сотнями голосов, с трёх сторон толпились и танцевали возбуждённые, красные от духоты и жары старшеклассники; два завуча стояли рядом, вытирая платками пот, дежурившие учителя вдоль боковой стенки сгрудились, присутствовали некоторые из родителей. Но Вадик мало на них внимания обращал и мало уже чего и кого стеснялся. Окрылённый и возгордившийся, он видел с того момента только устремлённые на него глаза, отчётливо различал в толпе только одну Ларису, что неотступно следила за ним, пристроившись неподалёку, на танец взглядами пламенными звала, как ребёночка малого глазами его ласкала...

Ну а потом был какой-то модный по тем временам вальс, который близко-близко, на расстоянии вдоха и выдоха, соединил их рвавшиеся навстречу друг другу сердца, хотя они и так уже мысленно были вместе. Осторожно обхватив Ларису за талию, и без того уже возбуждённый её вниманием Вадик в полной мере тогда ощутил дурманящий голову жар молодого девичьего тела, желанную тяжесть почувствовал девичьих горячих рук, доверчиво лёгших на плечи. Всё это было так ново, остро и непривычно, и так безумно сладко одновременно, что он шалел и дурел, с ума сходил от восторга, – он буквально задышался во время первого танца от счастья, от бурливших сердечных чувств, как кипятик через край из него, перегретого, брызжущих!

Потом, взволнованные и покрасневшие, они отдыхали в своих углах, приходили в себя, успокаивались. Потом с упоением сомнамбулическим танцевали ещё и ещё, привыкая, прислушиваясь друг к другу и, одновременно, всё крепче и доверчивее прижимаясь... пока, наконец, во время очередного с Ларисой танца Вадик ни почувствовал на своей груди на уровне сердца два упругих “мячика”-бугорка, что утюжками маленькими, раскалёнными, обожгли ему молодую грудь, заставили его, не целованного и непорочного, вздрогнуть, залиться краской стыда, мгновенно выпрямиться и отшатнуться... Эротический мощный озноб словно внезапным ударом тока сотряс его, водою огненной окатил, сделал мужчиною на мгновение, наполнил закипевшей кровью самые потаённые и срамные места его напрягшегося как струна тела. Всё закружилось в его глазах, поплыло, яркими звёздочками заискрилось! И показалось Вадик в тот момент, что земля закачалась как пьяная – и уходит, проказница, из-под ног как палуба во время качки...

Повторить ещё раз испытанное – несравнимое ни с чем! – блаженство ему на том вечере больше уже не удалось, увы. Макаревич с Лапиным, проскучавшие около часа в углу в отсутствие девушек и с завистью за ним наблюдавшие, засобирались оба домой. И Вадик, как ни пытался он удержать товарищей, уговорить их дожидаться конца, пришлось уходить вместе с ними. Остаться один на один с кипевшим страстями залом, а главное – с Чарской Ларисой, покрасневшей от танцев и музыки, от жилистых стебловских рук, что крепко, по-жениховски обнимали её во время последнего вальса, ошалевшей от этого и возбуждённой, если по её томному взгляду судить, и уже было начавшей требовательно и зазывно смотреть на Вадика из своего угла в минуты отдыха, чего-то большего от него ждать, чем тех его обниманий и прижиманий, – нет, на такие действия героические восьмиклассник Стеблов ещё способен не был, такие подвиги были не для него. Для его недоразвитой психики, да и для физиологии тоже, это было бы запредельное испытание – пылкую деву удовлетворить, немедленно предоставить ей все, чего она ни захочет.

С опущенной головой и чуть-чуть раздосадованный он покидал свой первый в начавшейся жизни бал – успешный, в целом, и запоминающийся, – затылком ощущая жар удивлённых до крайности глаз перевозбуждённой партнёрши – таких красивых от чувств и, одновременно, таких несчастных...

Окончание восьмого класса. Весна. Последнее школьное собрание восьмиклассников перед предстоящими в июне экзаменами, на котором подводились предварительные итоги завершавшегося учебного года.

Стеблов, Макаревич и Лапин сидели на этот раз уже как положено, во втором перед сценой ряду, внимательно вслушиваясь в выступление другого завуча школы, Мещеряковой Екатерины Петровны, не спеша рассказывавшей им тогда про средне-статистические учебные показатели каждого из трёх присутствовавших в актовом зале классов, а также про некоторых отдельно взятых учеников, наиболее отличившихся как в одну, так и в другую сторону.

Екатерина Петровна, солидного вида дама пятидесятилетнего возраста, грозная, властная и волевая, решительная и очень памятная – на всё, на хорошее и на плохое, – в отличие от Старыкиной преподавала в их школе математику и как завуч отвечала за естественные предметы (Старыкина отвечала за гуманитарии); преподавала давно и с успехом, за что и была отмечена государством ещё в сорокалетнем возрасте почётным и престижным званием “заслуженной учительницы РСФСР”. Но на предмете она не замыкалась и за тетрадки никогда не пряталась: была и шире и мудрее своей математики; а, в целом, была энергичнее, жёстче и амбициознее многих своих коллег, от которых отличалась хотя бы тем уже, что никогда детишек собственных не имела. И весь свой душевный жар поэтому и чувства добрые, с годами не убывающие, всю страсть неуголённого материнской любовью сердца она с неизбежностью переносила на ребятишек чужих, которых за долгие годы работы у неё столько было. Жизнь

школы, с её успехами и неудачами, взлётами и падениями, была и её жизнью, судьба каждого конкретного ученика – плохого ли, хорошего ли, не важно! – отчасти и её судьбой. Она горела, сжигала себя на работе, дневала и ночевала там и помнила по именам и фамилиям едва ли не всех выпускников за всю свою многолетнюю и многотрудную педагогическую практику.

Такая самоотдача великая и к порученному делу страсть безответными и незамеченными не остаются, к счастью, даром не пропадают, не утекают в песок. Как никогда не пропадают бесследно добро и зло – до капли в миру сберегаются. Как человека и педагога Мещерякову знали и помнили в четвёртой школе сотни благодарных учеников, кто так или иначе с нею однажды сталкивался: многим она помогла самыми разными способами, многих поддержала и образовала, из ямы, а то и трясины житейской вытащила, на правильный путь направив, – отчего авторитет у Екатерины Петровны был неизменно высок, надёжен и непререкаем. Даже и те, кто у неё в троечниках ходил, стеснялись её за глаза осуждать, по окончании школы чернить и поносить, в душе понимая прекрасно, что эти отметки её минимальные – вполне справедливые и реальные, что большего им, недоразвитым, было поставить нельзя, не заслужили они большего.

В объективности и порядочности Екатерины Петровны, словом, не сомневался никто. Никто не мог упрекнуть её в непрофессионализме, предвзятости, равнодушии. Дурная молва и хула за все годы работы её стороной обходили.

Поэтому-то попасть под начало и опеку такой учительницы в раннем возрасте было чуду сродни, удачей великой, подарком судьбы, бесценной милостью Божьей, пускай и не видимой на первых порах невооружённым поверхностным взглядом. Посеянные её доброй рукой семена в детских чувствительных и податливых душах всходы впоследствии замечательные давали...

Восьмой класс “А”, на который за прошедшие восемь лет обучения педагогическая и человеческая деятельность Мещеряковой ни коим образом не распространились, был в этом отношении здорово обделён: от него будто доброго волшебника постоянно прятали или источник целебный, все-укрепляющий, что силу жить и учиться многим другим давал, всячески помогал убогим, сирым и страждущим. Исключение здесь составлял один лишь Вадик, ходивший с давних времён у Екатерины Петровны в любимчиках...

Про отношения Стеблова и Мещеряковой – необычные, с одной стороны, и, одновременно, трепетные, – здесь стоит рассказать особо. Это и читателю небезынтересно будет узнать, и самому автору – в радость. Это даст отличную возможность ему лишний раз вспомнить их, порадоваться и подивиться, и одновременно Господа поблагодарить за школу и счастливое детство. После чего мысленно пожелать старой дряхлой учительнице, если она жива, всего самого-самого наилучшего. Пусть знает старушка, святая душа, что ученики её до сих пор помнят и любят, что не забыли её напутственные слова и никогда не забудут.

Так вот, бывает в жизни не раз – и про это, хорошенько подумав, наверняка может powiedzieć каждый, – что однажды случайно встретятся где-нибудь два незнакомых до того человека, “стукнутся лбами” на узкой дорожке, секунду-другую посмотрят пристально друг другу в глаза – и улыбнутся оба ни с того ни с сего счастливой широкой улыбкой. И так хорошо вдруг обоим станет от внезапной мимолётной встречи, так комфортно и празднично на душе – что хоть песни петь начинай, в пляс на пару пускайся! И уже кажется им обоим через минуту-другую, что и знакомы-то они много-много лет, давно общаются, дружат. И что вроде как нет и не было прежде ни у того, ни у другого ближе и дороже человека на свете, дороже и родней.

Нечто похожее произошло и у Вадика с Екатериной Петровной – с учётом разницы в возрасте и школьного статуса, разумеется. Встретив её однажды, будучи учеником пятого класса, на третьем этаже школы возле учительской и поймав на себе её цепкий и умный взгляд, Вадик вдруг улыбнулся тогда приветливо, вроде как бессознательно даже, быстро и бодро поздоровался с завучем, которую прежде видел несколько раз на торжественных школьных линейках,

неизменно стоявшую рядом с директором, и хорошо запомнил. После чего услышал в ответ: «здравствуйте, молодой человек», – сказанное с такой неподдельной искренностью и теплотой, да ещё и с обворожительной лучезарной улыбкой на тонких волевых губах, – что видеть эту чудную женщину, здороваться с ней он согласен был после этого ежеминутно!...

С той памятной для Стеблова встречи зоркий и цепкий взгляд Мещеряковой выхватывал его уже из любой ватаги, любой толпы, какой бы многочисленной и шумной она ни была, и долго не отпускал – следил за ним пристально и внимательно.

«Здравствуйте!» – поверх ребячьих голов кричал восторженно Вадик, едва заметив знакомые и полюбившиеся ему глаза, и неизменно слышал в ответ приветливое: «здравствуйте, юноша», – или: «здравствуйте, молодой человек». Слышал слова, от которых радостно прыгать хотелось.

А однажды, когда он, заигравшийся, столкнулся с завучем в коридоре и чуть было не сшиб её с ног, убегая от кого-то во время большой перемены, – то вместо грубого окрика и нагоняя вдогонку он услышал только участливо-ласковое: «Осторожно, Вадик! Побереги себя и других. Что это ты так расшалился сегодня?!...»

Собственное имя, произнесённое устами грозного завуча, перед которой трепетали и робели все, включая и преподавателей, поразило тогда Стеблова необычайно.

«Откуда она знает, как меня зовут?! – долго ломал он после этого голову. – Ведь она наш класс никогда не вела и знать у нас никого не может?!»

Ломать-то он ломал, но с того момента, завидя Мещерякову в школе или на улице, без стеснения и даже чуть-чуть озорно уже стал кричать ей подчёркнуто громко: «Здравствуйте, Екатерина Петровна!» – всегда неизменно подтягиваясь и возбуждаясь при этом.

«Здравствуй, Вадик, здравствуй дорогой», – поравнявшись с ним, в свою очередь приветствовала его заслуженная учительница, широкой светлой улыбкой одаривая своего любимца, придирчивым взглядом окидывая и оценивая его – внешний вид мальчишеский и настроение. И Стеблову неизменно после таких приветствий казалось, что, обратиться он к ней за помощью когда-нибудь или просто за добрым словом, советом, Мещерякова сделает всё, чтобы помочь ему, из кожи вон вывернется – что было, строго говоря, истинной правдой...

Возвращаясь теперь назад – на собрание восьмиклассников в актовом зале, которое мы ненадолго оставили и которое как раз Мещерякова и проводила, – скажем в завершение, что длилось оно недолго по времени: долго Екатерина Петровна детишек никогда не мучила, не любила попусту языком трепать. Быстренько рассказав со сцены про общие годовые показатели каждого класса в отдельности, трудности предстоящих экзаменов и необходимость серьёзного отношения к ним, она перешла под конец к обсуждению уже конкретных фамилий, что делала на своих собраниях почти всегда, что крайне важным считала в педагогических целях. И заполненный восьмиклассниками зал мгновенно затих в напряжённом ожидании.

Сначала она, как водится, назвала имена и фамилии учеников, давно уже всем известных, от которых-де в школе устали как от холеры и которые, по её мнению, и себя и учителей продолжали упорно позорить наплевательским отношением к делу – урокам и домашним заданиям понимай. Высказав в адрес таких “паразитов и трутней бессовестных” весь свой душевный гнев вперемешку с презрением, что за год накопились в ней, Екатерина Петровна, махнув обречённо рукой, с удовольствием перешла после этого на другую категорию присутствовавших в зале школьников, куда более для неё желанную. Она с жаром, словно чистый воздух вдохнув, стала рассказывать про тех из них, кто изо дня в день, не покладая рук и себя не щадя ни грамма, старается учиться на одни пятёрки – на радость учителям и родителям – и кто заслужил таким молодым подвижничеством самых высоких похвал и самых больших поощрений... Перечислив фамилии нескольких присутствовавших на собрании восьмиклассниц, в

число которых попали и девочки-отличницы из восьмого “А”, Екатерина Петровна, пожелав им всего наилучшего на экзаменах, посмотрела после этого на Стеблова.

– Есть в этом зале, впрочем, помимо круглых отличников и другие не менее способные ребята, – с любовью, гордостью в голосе и глазах сказала она. – Например, Вадик Стеблов, которого вы все знаете... Мне кажется: я за ним давно уже наблюдаю и слышала про его способности от учителей, – что, отнесись он посерьёзней к учёбе: к русскому языку, например, к немецкому тому же, – то в будущем он мог бы закончить школу с медалью, вполне бы мог... Подтянись, Вадик, настрой и пересиль себя, – уже непосредственно к любимчику обратилась Екатерина Петровна со сцены. – Тебе это будет не сложно сделать. И ты будешь примером для всех: все будут на тебя ровняться.

Весь зал повернулся как по команде и уставился на Стеблова сотнями удивлённых глаз, под нешуточным давлением которых Вадик не знал в тот момент, куда ему и деваться. Смущение и тихая, переполнявшая душу радость охватили его – ибо такой высокой оценки своим скромным интеллектуальным способностям, да ещё и из уст всеми любимой учительницы, завуча школы! он не ожидал никак. И был бесконечно счастлив и благодарен за неё Мещеряковой.

Заёрзав, завертевшись в кресле, порозовев до кончика носа и мочек ушей, моментально сжавшись, голову вобрав в плечи, будто бы ото всех спрятаться намереваясь, он машинально повернулся тогда назад, на левую от себя сторону, где на следующем от него ряду сидела с подругами Чарская, – и тут же столкнулся прищуренным взглядом с ней, с её восторгом наполненными глазами, прямо на него направленными, в которых без труда читались и за него неподдельная гордость, и безмерная к нему любовь.

Слова Екатерины Петровны Мещеряковой и восторженный Ларисы Чарской взгляд после них Вадик в точности помнил потом всегда – сколько б ни жил на свете! Потому как ничего похожего с ним ни разу уже не случилось. Никто не сказал ему больше за целую жизнь таких окрыляющих душу слов из посторонних людей, никто не смотрел на него после школы с такой неподдельной и чистой любовью...

На том весеннем собрании Стеблов последний раз видел Ларису, последний раз любовался ей, был с ней рядом. Для обоих началась после этого предэкзаменационная утомительная чехарда, внёсшая в жизнь каждого некоторую нервозность, сумятицу и мандраж, прежде им не знакомые. Не до любви уже стало, не до перегибков пламенных – надо было ответ держать. Первый – и оттого волнительный.

Потом начались сами экзамены за восемь прошедших лет обучения, на деле оказавшиеся лёгким ветерком в сравнение с предрекаемой классными руководителями и завучами школы бурей. Потом был солнечный и жаркий июль и не менее солнечный август – два лучших месяца в жизни каждого ученика, когда можно было вволю купаться и загорать, отдыхать и ни о чём не думать. И они потеряли друг друга из вида. Совсем.

В конце же августа, тридцатого числа, собрав в чемодан пожитки с книгами и наскоро простившись с семьёй, новоиспечённый девятиклассник Стеблов уехал учиться в Москву, по дороге не вспомнив ни разу о своей Ларисе...

Глава 2

*«Ища поддержки, как Антей к земле, я прикасаюсь к памяtnому детству.
Пока оно со мною по соседству, мой путь не потеряется во мгле.
Пока оно качает на крыле – меня, и я храню его у сердца,
петляй, судьба, неиствуй и усердствуй – не задохнусь я у тебя в петле.
Я жив пока могу вернуться к дому, <родителей, и ко> гнезду родному,
где я птенцом отправился в полёт, где воздух пахнет будущим, как прежде,
а прошлое мне снова о надежде – в саду, как птица вещая, поёт...»*
Мигель де Унамуно (перевод С. Гончаренко)

1

Его в детстве прозвали *заводным* – за то, что он часами мог гонять мяч по футбольным и баскетбольным полям, а шайбу – по ледовым площадкам, изумляя всех своей быстротой, реакцией, изворотливостью и выносливостью. Составы игравших команд беспрерывно менялись, менялись численность игроков и игровые места, менялись, наконец, сами игры. Не менялся только герой наш, Вадик Стеблов, стремившийся всегда и везде всех перебегать, всех обыграть, во всём принять активнейшее участие.

Улица с малых лет была его родной стихией, домом вторым, а фактически – первым по количеству проведённого времени, растившим, воспитывавшим и окрылявшим его, его духовно и физически укреплявшим. Он пропадал там с утра и до вечера, бывало – прихватывал ночи, забывая про голод и холод, одежду подходящую и про сон. И всё рвался и нёсся куда-то, изо всех сил стараясь всё на свете увидеть, всё успеть захватить.

«Как он у меня в школе учиться будет? – то и дело мысленно сокрушалась мать, с тревогой наблюдая за своим первенцем. – Он же и минуты не может усидеть на месте!...»

Тревожилась и горевала мать, как потом выяснилось, не напрасно, хотя школа и не стала для её старшего сына бедствием ужасающим или же сущей мукой, препятствием непреодолимым как для других. Два-три обязательных урока в начальных классах не слишком обременяли и напрягали его, не сильно озадачивали. К тому же, первые рассказы учительницы – живые, красочные и доходчивые, примерами и картинками сопровождаемые, – ему, на удивление любознательному и жадному до всего нового пареньку, как раз даже нравились. Он слушал их, раскрывши рот, схватывал всё на лету, быстро запоминал услышанное.

Школа, плюс ко всему, заметно прибавила ему друзей, с которыми пришли и новые увлечения. Сама она на первых порах – с её порядками и людьми, огромным спортзалом и библиотекой, изумительным фруктовым садом за стадионом, в котором такие диковинные выращивались плоды, такие сладкие и сочные яблоки вызревали, – сделалась очередным и самым большим его на тот момент увлечением, которое его больше радовало, чем утомляло. Как могут увлечения утомлять?!

А времени после неё у Вадика оставалось много, о котором не стоило ещё сильно тужить. И, прибежав после уроков домой, наскоро подкрепившись и переодевшись, он со всех ног мчался потом на милую сердцу улицу – догонять там то, что упустил за утро, энергию из себя выпускать, окружающей жизни радоваться...

Первым большим испытанием для него стало домашнее задание, предложенное их классу Инной Алексеевной Малкиной, первой учительницей Вадика – низкорослой красивой дамой средних лет с огромной, не пропорциональной для её роста грудью, любившей тихонь и угодников, богатых и знатных учеников, что неизменно ходили у неё в любимчиках и отличниках. Инна Алексеевна, исходя из опыта или из образовательных директив, полученных в пединституте, не поспешила сразу же загрузить детей: дала им время на привыкание и раскачку. Всю первую неделю она знакомила их со школой – историей её и традициями, её знаменитыми выпускниками, – водила первый “А” класс по этажам и разным профильным кабинетам. Потом показала детишкам спортивный и актовый зал на четвёртом этаже, стадион за школой, богатейший фруктовый сад с теплицей и парниками, и молодыми, обильно плодоносящими яблонями и грушами. И под конец попросила своих притомившихся подопечных нарисовать дома в тетрадках с помощью циркуля пять одинакового размера кружков, долженствующих располагаться на первой странице строго по горизонтали.

Задание было пустяшным – но с тайным и далеко идущим умыслом. Именно так проверяют опытные педагоги новых учеников, составляют мнение о них: о характере каждого и работоспособности, настрое внутреннем и прилежании.

И уже ту первую школьную проверку Вадик тогда не прошёл – полным неумёхой себя выставил и разгильдяем, – из-за чего сразу же опустился в учительских глазах, в категорию середняков справедливо попал, безнадёжных троечников, дал повод Малкиной нелестно о себе все четыре года думать, которых – поводов – потом было не сосчитать.

Прибежав после уроков домой, как всегда раскрасневшийся и возбуждённый, он, помнится, начал дело с того, что расчистил для себя угол за обеденным столом, потому как собственного стола у него долгое время не было. Когда всё было готово и прибрано, он уселся поудобнее на табуретку, достал из портфеля тетрадь и новый, заточенный матерью, карандаш, а также совсем ещё новенький, в чёрной блестящей краске циркуль, в народе прозванный “козьею ножкой”. Это был тогда самый дешёвый и самый примитивный циркуль-универсал, рассчитанный, при небольшой доработке, на все виды карандашей: от самых тоненьких – до самых толстых.

Карандаш Вадика тонковат оказался для металлического хомутка: его необходимо было поджать клещами... Но клещи были у отца, отец же был на работе, с которой возвращался поздно, как правило; бывало – и навеселе. А сидеть и ждать его, сложа руки, до вечера Вадик не захотел – не любил никого ждать и минуты.

«Попробую так», – не долго думая, решил он, засовывая карандаш в держатель, после чего медленно, придерживая большим пальцем шестигранный торец и одновременно загоняя остриё ножки циркуля поглубже в бумагу, стал выводить в тетрадке первый, заданный учительницей круг, усердно сопя и пыхтя при этом.

Незакреплённый карандаш, как хорошо смазанный ползунок ползая по держателю, самоуправно вычертил на лощёном листе некую причудливую фигуру без названия, у которой, помимо страшного вида, ещё и начало не сошлось с концом. Спираль получилась кривая, “пьяная”, а не круг, на которую даже смотреть было больно...

Такой поворот плёвого на первый взгляд дела неприятно поразил Стеблова – парня стремительного, несдержанного.

«Я так с пятью кружками этими до вечера провожусь», – с досадой подумал он и, поморщившись, полез в портфель за ластиком.

Новенький ластик быстро ликвидировал неудавшееся с первого раза творение, и наш торопыга-чертёжник, закусив губу и ещё яростнее, ещё громче сопя, вновь принялся за работу, ещё крепче придерживая пальцем карандаш в держателе, поворачивая уже не циркуль, а саму тетрадь.

Фигура на листе в этот раз по форме напоминала уже точно круг, но под самый конец рука Вадика вдруг ослабла и дрогнула. И две до того дружно шедшие навстречу друг другу линии опять предательски разошлись, не на шутку разозлив занервничавшего первоклашку. Он-то, чудак, думал выполнить первое в жизни задание за один присест, одним махом скинуть его с плеч долой и забыть про него поскорее. И потом получить от учительницы похвалу или даже пятёрку. А выходило всё наоборот – смешно, бестолково и очень медленно. Ни руки не слушались, ни тетрадь, ни циркуль с карандашом гранёным. Вадик нервничал, портил всё, спотыкался на ровном месте; он, шутка сказать, запутался в трех соснах, где не должен был, не имел права путаться...

И вновь энергично заработал ластик в его руках, старательно убирая начерченное; и одновременно превращая лощёный тетрадный лист в бумагу туалетную, промокашку...

Третью, совсем уже нервную попытку карандаш не выдержал – сломался; его тонкий графитовый кончик, затрещав и подскочив на столе, отлетел далеко в сторону, не желая более служить такому горе-чертёжнику.

Тяжёлый надрывный вздох, раздавшийся над столом, унёс остатки короткого детского терпения: его едва-едва хватило после того на новую карандаша заточку. А тут ещё, как на грех, в окно постучал сосед-одногодок, вызывая гулять разнервничавшегося друга, “ерундой” уже полчаса занимавшегося.

– Сейчас иду, – крикнул ему в форточку вскочивший с места Вадик. – Домашнее задание сделаю только.

Подстёгнутый призывом гулять и солнцем сентябрьским, ласковым, нежно коснувшимся глаз, он закрыл и занавесил окно, и вернулся назад к столу, при этом недовольно морщась. Нервно усевшись за стол, он схватил приготовленный карандаш, ставший после собственно-ручной заточки каким-то уродливым и неудобным, и уже от руки, без циркуля, быстро нарисовал в тетрадке пять заданных учительницей кружков, которые попытался расположить в заданную ей же линейку. Кругами, правда, те его ручные творения сложно было назвать. Да и заметно плясали они на листе вверх и вниз словно пьяные. Зато у каждой фигуры из пяти концы сходились с концами.

«Да ладно! Сойдёт и так, – с облегчением подумал он, пулей выскакивая из-за стола, на бегу убирая в портфель циркуль, карандаш и тетрадку. – Кому нужны эти кружки дурацкие?!»

И не прошло и пяти минут, необходимых на переодевание, как он уже самозабвенно гонял во дворе с соседскими ребятами мяч, с удовольствием и каким-то внутренним наслаждением даже погружаясь в привычную для него среду, стихию желанную, милую, – стихию соперничества и борьбы, и бескомпромиссного спортивного состязания...

– Как у тебя в школе дела, Вадик? – спросила его вечером мать, с работы только-только пришедшая и словно что-то неладное почувствовавшая тогда.

– Нормально, – ответил смотревший телевизор сын.

– Домашних заданий не задают ещё?

–...Н-нет.

–...Странно! – недоумённо пожала плечами Антонина Николаевна (так звали маму Вадика), намереваясь идти ужин готовить. – Уже неделю целую проучились, а вам ничего не задают.

– Зададут-зададут, не волнуйся, мамуль: Инна Алексеевна сегодня пообещала, – скороговоркой ответил отвернувшийся от неё первенец, с головой ушедший в футбол и не желавший продолжать неприятный для него разговор, рассказывать всю правду матушке. И уж тем более, не желавший отрываться от телевизора, на ночь глядя, и садиться опять за стол и тетрадки, кружки начинать переделывать, мучиться, глаза ломать. На кой ляд ему это было нужно?! Он очень устал, избегая за день – и хотел отдохнуть. А перетруждать себя дурацким заданием не имел намерений...

2

То испытательное домашнее поручение, почти никем, кроме самой Малкиной, не замеченное, незримо, но чётко разделило первый класс “А”, в котором довелось учиться маленькому Стеблову, на две неравные части.

В первую, меньшую по числу, попали дети, всю вторую половину того памятного сентябрьского дня провозившиеся над заданными учительницей кругами, которые, в конце концов, получились у них на загляденье – ровные и красивые. Для таких ребятишек предстоящие десять школьных лет обучения – со всеми их ежедневными заданиями и контрольными, окружностями, треугольниками и пирамидами, как и подлежащими и сказуемыми, падежами, спряжениями и склонениями – должны были стать и стали главным на тот период жизни делом, полностью подчинившим оставшиеся вне школьных стен дела, тем более – развлечения.

В оставшейся, большей части, естественным образом оказались ученики, отнёсшиеся к первому домашнему заданию либо спустя рукава, либо вообще позабывшие его выполнить. Для них – непоседливых и неорганизованных, шалопутных, беспечных и озорных, или просто очень и очень ленивых – школа, как таковая, не только не стала единственным светом в их необычайно широком жизненном окне, но даже и не самым ярким.

И именно к последней группе, к величайшей скорби матери, доходившей у той до отчаяния, а часто и до горьких, безудержных и безутешных слёз, целых семь долгих лет вполне заслуженно принадлежал и Стеблов Вадик, никак не желавший менять свою вольную и беспшабашную внешкольную жизнь на сомнительную, по его тогдашним понятиям, честь быть в числе первых учеников класса.

Он так и учился потом, как выполнял то первое на дом задание, – нервно, стремительно, неровно очень: лишь бы концы у него сходились с концами и хоть какой-то был результат. Оттого и не замечал совсем набегавших и весело проживавшихся лет, как к тетрадкам старым, использованным, к ним относился... А года набегали быстро и, не задерживаясь, уносились прочь, оставляя по себе лишь слабые воспоминания...

Первые четыре года в школе показались Вадиду одним днём, одним мгновением даже. Инна Алексеевна Малкина, научив детей читать и писать, любить школу, Родину и будущих учителей, свою почётную задачу-миссию полностью выполнила и навсегда распрощалась с ними. Были слёзы обильные и цветы, заверения с обеих сторон в вечной любви и памяти. И было прощальное, с тортами и чаем, застолье, венчавшее трогательное расставание.

И всё. Беззаботное детство закончилось, превратилось в сон – сладкий, как прощальный торт, быстротечно-прекрасный...

Пятый класс принёс с собой большое количество новых предметов, не ведомых бывшим первачкам. На смену простенькой арифметике пришли почтенные алгебра с геометрией, замелькали фамилии Фалеса, Пифагора, Евклида, от мудрёных аксиом и теорем которых у некоторых учеников 5 “А” стала регулярно болеть и “раскалываться” голова и “шарики заезжать за ролики”. Букварь и Родную речь заменили величественный и могучий Русский язык и не менее величественная Русская литература. Появились история, ботаника, природоведение, иностранные языки, музыкальное, художественное, трудовое и физическое воспитание.

Вместе с новыми, диковинными дисциплинами – и это было куда более важным и значимым для Стеблова и его повзрослевших товарищей-одноклассников событием – пришли и новые преподаватели, каждый из которых отвечал уже только за свой предмет, только по нему одному учеников проверял и оценивал. Все они были разные по возрасту, характеру и темпераменту, воспитанию, образованию, воззрениям на жизнь, разной же национальности, – что

было немаловажно, как потом выяснилось. И все так или иначе гнули свою линию, строили класс под себя, под свои требования и программы.

Это было и хорошо и плохо одновременно, такая палитра педагогическая и такой разноречивой. Хорошо потому, что было крайне занимательно и интересно к новому человеку приноравливаться, изучить и понять его, такого важного и своевольного, ума-разума от него набраться, симпатий, похвалы и любви, которые никогда не бывают лишними. А главное – оценку заслуженную получить, уже не зависящую от других предметов и педагогов, а только лишь от способностей, исключительно от них... Плохо же потому, что невозможно стало бездарям и нетягам разом под всех учителей подстроиться и обольстить, подкупить напускным усердием, кротостью. Тяжеловато пришлось в пятом классе любимцам первой преподавательницы – тихоням, угодникам и лизунчикам, да и тем же блатным, – кто четыре прошедшие года выезжал исключительно на её к ним симпатиях.

В целом же, тяжело становилось всем. Учебный процесс усложнялся день ото дня, предъявлял ученикам всё новые и новые требования. И не все выдерживали такой напор, не все за ним поспевали.

Инна Алексеевна для оценки своих питомцев использовала всего два критерия – прилежание и социальный статус семьи. Другими критериями она пользоваться не могла, даже если бы и захотела этого: таблица умножения и Букварь исключали для неё такую возможность.

Теперь же всё поменялось кардинальным образом: усложнилось и запуталось для одних, для других же стало честней, справедливей, проще. Прилежание, кошелек и статус отца – вещи важные и безусловно необходимые в любом деле: без них – никуда. Но с приходом алгебры и геометрии, истории и литературы, чуть позже – физики, химии, биологии, их одних уже становилось мало: уже необходимо требовались память объёмная, цепкая, извилистые и породистые мозги, дотошные и проворные, умение думать, задачи решать, быстро и качественно головой работать.

И выяснялось – к стыду и удивлению многих, неприятному надо сказать, – что как раз это-то и не просто, не все это могут добротнo и красиво делать. Из числа тех, главным образом, кто был причислен Малкиной к “лику святых”, кто ходил у неё в обожаемых. И, наоборот, играючи и с лёгкостью невероятной, на зависть всем, как орешки щёлкают задачки алгебраические и геометрические те скромные до того пареньки, кто у первой учительницы были мышками серыми, нолём, кто числился у той в шалопаях...

Жизнь класса менялась, словом, менялась прямо-таки на глазах, доставляя такой переменной скорой радость и гордость одним, другим же – печаль и муку. Уже к концу первого полугодия в 5 “А” образовались три не пересекающиеся между собой группы: отличники круглые, середняки и неуспевающие по всем предметам дети – так называемое “болото”. Разделение это оформилось и закрепилось вначале в головах учителей, затем – в головах воспитанников и их дневниковых оценках, и сохранилось неизменным, в целом, за очень редкими исключениями, все последующие шесть школьных лет – вплоть до звонка последнего, прощального.

Группу отличников составили те, кто своё прилежание и трудолюбие природное весомо подкрепили умением думать, запоминать, делать правильные из прочитанного и заученного на уроках и дома выводы. Таких в классе Вадика оказалось совсем немного – куда меньше, во всяком случае, чем было их до того у Малкиной. Все они быстро сделались заметными в школе людьми: их фотографии поочерёдно красовались на школьной доске почёта. В эту группу, кстати сказать, поначалу вошёл и Вовка Лапин, давнишний Вадика друг, о котором рассказывали впереди.

Самую большую по численности группу, группу середняков, основу любого класса, составили либо ученики прилежные, но недалёкие по природе своей, либо способные к обучению дети, у которых самодисциплина отсутствовала или была смехотворно-маленькой. К этой

второй группе по праву принадлежал Серёжка Макаревич, ещё один дружок Вадика, о котором, опять-таки, мы поговорим дальше.

Ну а “болото” – оно “болото” и есть. Там мрак, невежество, беспробудная духовная спячка – и могучая власть инстинктов во всем: хватательных и жевательных, утробно-половых. Про таких “крепышей-плохишей” не то что писать, – говорить лишний раз не хочется...

Про самого же Стеблова скажем, что с пятого по седьмой класс включительно и по оценкам своим, и по внутреннему настрою, отношению к делу принадлежал он к крепким середнякам – и ничуть не тяготился этим. Не было у него на тот момент ни прилежания соответствующего, ни особых к чему-либо склонностей или страстей, так что было удивительно даже, как он ещё четвёрки и пятёрки в дневник тогда получал и некоторым учителям нравился.

Память спасала его, удерживала на плаву, не давала опуститься до троек, – природная, Богом данная память, первые признаки которой обнаружили у него достаточно рано, когда он только-только выучился говорить... и хулиганить начал вовсю, игрушки разбрасывать по квартире, со всеми подряд драться. Сидя как-то осенним вечером с матерью на диване и прослушав в её прочтении поэму Некрасова «Генерал Топтыгин», он, трёхгодовалый тогда карапуз, толстенький, живой, плотно сбитый, с большой несоразмерной туловищу головой, тут же и повторил понравившуюся поэму слово в слово, сбившись по ходу рассказа всего пару-тройку раз.

Такой поворот событий поразил тогда мать, потряс даже: не ожидала она совсем, от родов которых отдыхавшая, такой от своего первенца прыти.

– Молодец, Вадик! молодец! – только и сказала она, с восторгом на сына глядя.

И потом вдруг, в порыве душевной радости, обхватила его, крепко прижала к груди и долго держала так, счастливая, умилённо любуясь им и восхищаясь одновременно.

В тот момент знаменательный, заревой, который оба они на протяжении жизни до мельчайших деталей помнили и с удовольствием пересказывали друг другу, оставшись один на один, в колотящемся материнском сердце впервые зародилась надежда – робкая, крохотная такая, которую мать скрывала потом ото всех, от супруга законного даже, но которую упорно не один год в мыслях своих лелеяла! – что сынуля её родненький, её несравненный Вадик в будущем не подведёт её ни за что, перед людьми в дурном свете не выставит. Наоборот, поднимется на ноги с Божьей помощью, выучится, станет красавцем-парнем, а может даже учёным – умным, образованным, волевым, всё на свете знающим и умеющим. И этим лучше всяких гостинцев под старость одарит её и воодушевит, спокойно умереть поможет, за что она ему будет век благодарна...

А память у сына и правда была изумительной! – это отмечали потом все близко знавшие его люди. Она выручала его всегда и везде, в том числе – и в школе... Ведь он не учился совсем до восьмого класса, или – почти не учился: всё, что на уроках запомнит, решит и поймёт – на том и выезжал; и умудрялся получать в дневник приличные отметки.

Страсти же к наукам и кабинетному творчеству, знаниям твёрдым, глубоким достаточно долго не было у него – ни к каким! И тут уж не помогали ни чьи напутствия и увещевания – ни родителей, ни родственников, ни учителей. Потому что страсть к чему- или к кому-либо, как, впрочем, и вышеупомянутая память, как и любовь, – это дело сугубо Божие...

Для Антонины Николаевны Стебловой, всю жизнь боготворившей школу, равно как и всякое образование вообще, такое наплевательское, безалаберно-равнодушное отношение старшего сына к учёбе и срединное его положение в классе стали настоящей мукой, пыткой душевной, плохо переносимой, если трагедией не сказать. Не такого рвения от Вадика она втайне всегда ждала, не на то его с малых лет настраивала. Да и без запинки пересказанный

«Генерал Топтыгин» в младенческом возрасте совсем не такое ей обещал, не такие плачевные рисовал горизонты...

– Ты почему не хочешь учиться, сынок, ответь?! Почему в школу ходишь как на работу постылую, неинтересную?! И почему до сих пор не можешь увлечься ничем, с будущим как-то определиться?! – раз за разом дома терзала она его и себя расспросами пренеприятными, едва-едва сдерживая слёзы в глазах после очередного родительского собрания, когда ей там про равнодушие её первенца выговаривали школьные наставники-учителя и в один голос просили помочь им сына её бесстрастного как-то к знаниям приобщить, к серьёзной на уроках работе, по-матерински повлиять на него, на его безответственное поведение. – И в начальных классах, помнится, учился кое-как – без старания и прилежания: Инна Алексеевна всё на тебя жаловалась. И теперь, подросток и возмужал когда и когда пора бы уж, кажется, и за ум браться, ты всё равно учиться не хочешь! Почему, скажи?! Растолкуй пожалуйста!

– Да почему не хочу-то? – хочу, – досадливо отвечал сын, предчувствуя очередной скандал. – Учусь как все, как весь наш класс учится.

– Как же это ты так интересно учишься, и чему, позволь тебя спросить, если учителя в один голос обратное мне говорят: что ты совершенно не стараешься и не учишься по их предметам?!

– Кто говорит? – болезненно морщился Вадик.

– Да все поголовно! Жалуются, что ты всё делаешь кое-как, без огонька: лишь бы, мол, побыстрее отделаться! с плеч побыстрее заданное спихнуть! – а там, говорят, ему хоть трава не расти, хоть прахом пусть всё идёт и пылью густой покрывается! И с русским языком так, литературой, историей! И с немецким языком, Галина Матвеевна сегодня жаловалась, такая же точно картина!

– Немецкий мне учить не обязательно: я с немцами ни дружить, ни общаться не собираюсь. Они – фашисты, гитлеровцы, наши враги. Были врагами, врагами и будут.

– А русский почему не учишь? – оторопело вопрошала мать, понижая тон, удивлённая ответом сына. – Это же твой родной язык. А литературу?

– Я учу, – упрямо повторял Вадик, опустив низко голову.

– Как же ты учишь, объясни мне, дуре, если у тебя в дневнике одни сплошные четвёрки по этим предметам? А то и тройки проскальзывают. Кто учит – тот отличник круглый с первого класса, как ваша Чаплыгина Оля или Лапин Володька.

– Они все зубрили и подхалимы, отличники твои, – не поднимая головы, недовольно отвечал возбуждённой матери сын. – Их за это никто в классе не любит.

– Ну и что! – негодованием взрывалась мать. – Хороших и работающих людей никто не любит!... и нигде! Запомни это, сынуля!... А насчёт “зубрил” я тебе так скажу, что и зубрилкой нужно быть: многие предметы без этого просто не выучишь!... А ты, дружок мой дорогой, своё разгильдяйство элементарное и нежелание учиться с первых дней, я заметила, выдаёшь за какой-то там якобы героизм! за грошовое свободолюбие! Вот какой, дескать, я отчаянный малый! – мне всё до лампы! я никого не признаю и не боюсь! И плевать я, дескать, хотел на учителей и на школу!... Так же тоже нельзя, сынок! – пойми. Потому что не правильно это! И не по-людски, и не по-советски как говорится!

– Вадик! дорогой! послушай меня, – переведя дух и взяв себя в руки, уже спокойнее продолжала беседу мать, перед сыном вся в струнку вытянувшись и даже и сжатые руки шатром к груди приложив, будто Самого Господа Бога призывая в союзники. – У тебя сейчас столько свободного времени на счету, которого в таком количестве у тебя потом никогда уже больше не будет! никогда! – поверь! О таком даре Божиим можно только мечтать! – всякий умный и талантливый человек об этом всю жизнь мечтает!... Это время можно потратить с пользой: что-то узнать, прочитать, выучить, понять и запомнить. Чтобы когда-нибудь в будущем добытое знание применить, чтобы элементарно стать интересным образованным человеком.

А можно, наоборот, пропить и прогулять, пустить драгоценное школьное время по ветру. И остаться в результате ни с чем – пустышкой дрянной, ничтожеством, никчёмным глупеньким человечком, которого будут потом все обманывать, эксплуатировать, унижать, ноги о которого с презрением вытирать будут... Неужели же ты, сын мой старший, любимый, хочешь для себя такой незавидной участи: прожить жизнь свою кругленьким дурачком?! уродцем слабым, безвольным?! Хочешь?! – ответь!

– Не хочу, – тихо, но твёрдо отвечал Вадик, за живое задетый таким неприятным сравнением. Но слова матушки, жаркие и возвышенные, не возбуждали в нём почему-то ни школьного энтузиазма, ни рвения, других каких чувств. Он не понимал тогда, не мог уяснить, чего от него все хотят: дома – мать, учителя – на уроках.

В школу он ходит и учится, слава Богу, – по мере своих сил и возможностей, разумеется; оценки хорошие получает: четвёрки, а то и пятёрки даже, пусть и не всегда. Чего же, кажется, им ещё надобно?... Не все задачи решает, какие на дом задают? не все стихотворения учит? – да, не все! Но если всё решать и учить – свободного времени совсем не останется – ни минуты! ... А когда же тогда жить?! – просто жить, ни о чём не думая?!

Матушка говорит, что уходит время. Действительно – уходит: она тут права. Вадик годов не замечал, не то что часов и минут... А ему без конца талдычат с первого класса про какие-то задачи дурацкие, склонения, спряжения, падежи, про язык поганый, немецкий! Что значат они, *придуманные и искусственные, символические*, в сравнение с уходящей жизнью *живой*! чего они в сравнение с ней стоят!... Но ему настойчиво предлагают, чуть ли ни требуют даже поменять её – собственную уходящую безвозвратно жизнь, – на них. Понимай – на пошлые и пустые *фантики*: ну не смешно ли это?!

Нет уж – увольте! ищите других дураков! А его не трогайте, оставьте в покое! Платить такую высокую плату за ерунду, за фикцию натуральную, за пустышку ученик младших и средних классов Стеблов никак не хотел, не испытывал к тому никакого желания. А то что «*ученье – свет, а неученье – тьма*» до него тогда слабо ещё доходило...

3

В шестом же классе случилась другая беда – Вадик увлёкся лыжами. Да так ярко, неистово и фанатично делу новому всего себя посвятил, не по-детски самозабвенно, что школа с её программами образовательными, ежедневными тяготами и заботами на целых полтора года отошла для него в глубокую тень и как бы перестала существовать вовсе.

Успеваемость его в этот период резко упала, запестрели тройки с двойками в дневнике, отношения с учителями резко испортились... Катастрофически испортились и отношения с матерью, для которой шестой класс сына стал едва ли не самым тяжёлым в жизни, самым для сердца опасным, стоивший ей столько слёз, столько ночей бессонных, покрывший бедную голову её первой старческой проседью...

Спортом, если уж говорить строго, Вадик занимался всегда – сколько себя помнил; занимался где придётся и чем придётся – с такими же шустрými пацанами как сам, которые в основной массе своей были его взрослее. Гонять ли по улицам мяч или шайбу часами, висеть на самодельном турнике или просто бегать наперегонки, купаться в пруду до одури, до посинения, играть во дворе в салочки – ему было всё равно и всё едино: лишь бы на одном месте не стоять, а шевелиться и двигаться. Энергии мышечной и сердечной, динамической силы в него природой было заложено с лихвой: на десятерых бы, кажется, хватило.

В пятом же классе он сделал первую достаточно робкую попытку хоть как-то обуздать себя, своё бурлящее естество оформить, организовать его, окультурить, если так можно выразиться, пустить своё физическое развитие по одному-единственному руслу: решил заняться спортивной гимнастикой в городской спортшколе. И такое решение опрометчивое Вадик принял, главным образом, под давлением своих дружков – Лапина и Макаревича. А точнее – под воздействием их первых спортивных побед и первой же достаточно громкой славы: про обоих с уважением в голосе упомянули в классе учителя и даже написала однажды их районная многотиражка. Амбициозного и самолюбивого Стеблова это всё подстегнуло здорово, распалило, раззадорило, завело; он, лихой удалец, захотел для себя того же...

И тут будет уместно нам с вами, читатель, ненадолго остановиться и поближе познакомиться с друзьями Вадика, Вовкой и Серёжкой, вкратце живописать портреты и биографии их, которые в школе были тесно переплетены с биографией нашего героя. Автору это будет достаточно просто сделать: двое этих симпатичных и добрых, в целом, парней никогда не имели харизмы, Божией искры в груди, таланта какого-нибудь хоть самого крохотного и завалющего, который и делает из любого смертного личность яркую и неповторимую, как магнитом притягивающую к себе, оставляющую долгую память и шлейф героический. Поэтому в индивидуально-личностном плане школьные приятели Вадика были на удивление серыми и неинтересными, одинаковыми как два одуванчика на лугу или цыплята из инкубатора, про жизнь и дела которых что-то такое особенное вспомнить и рассказать по большому счёту и нечего.

Поразительно, но даже и у некоторых одноклассников-шалопаев Стеблова, что в двоечниках с первого класса ходили, в изгоях у учителей, даже и у тех немногих было *“своё лицо”*. Они хотя бы удалю и бесшабашностью отличались, поразительным бесстрашием и природной дерзостью молодой, отчаянными на уроках и вне школьных стен поступками и поведением, что так любят девочки во все времена, за что пареньков-удальцов чтят и ценят.

У этих же двух слюнтяев и чистоплюев законченных – а по-другому и не скажешь про них! – ни разу и намёка на бунтарство и удаль не наблюдалось за все десять долгих и утомительных школьных лет, позывов робких к преодолению ли, сопротивлению ли, жёсткой и бес-

компромиссной борьбе. Какой там! Куда ветер подует – туда их и чёрт несёт, словно пылинки уличные.

А всё потому, что оба при рождении получили кислую голубую кровь от родителей и уже в силу этого были рафинированными и изнеженными, пустыми как барабан – не бойцами, не воинами, не победителями! Будучи бездарными и бесталанными отпрысками богатых и обеспеченных всем необходимым семей, они проживали детские годы, равно как и годы отроческие, исключительно за счёт денег, авторитета и связей отцов, и ничегошеньки своего к дармовому авторитету отцовскому не добавили. Все их успехи школьные и достижения, если таковые в принципе были, зиждились исключительно на усердии и усидчивости, да на подчёркнуто-доброжелательном отношении учителей. Чего-то другого у этих ребят за душою трудно было найти – хоть днём с огнём там ищи. Нечего про их внутренний мир и особенности интеллектуальные и написать поэтому! Талантом и творчеством, жаром душевным, огнём, исканиями и метаниями там никогда и не пахло!...

Но при всей их внутренней схожести, какую редко встретишь даже и у братьев родных, внешне Макаревич и Лапин рознились как день и ночь, или как две стороны медали. Рознились они и характерами и воспитанием, семьями и родителями своими – всем тем, одним словом, что составляет жизненную атмосферу вокруг человека, социальную его среду.

Серёжка внешне был жгучий и обворожительный красавиц-брюнет, весёлый, живой и подвижный, в общении лёгкий, вольный в манерах. Вовка же, наоборот, был совершеннейший стопроцентный блондин скандинавского вида, элегантный, спокойный, чопорный, чуть флегматичный даже, любивший порядок и чистоту, суету и на дух не переносивший, не терпевший шумных и горластых ребят и компаний.

Серёжка был большой хвастунишка и фантазёр, выдумывавший про себя и свою семью всяческие небылицы. Вовка лгать и что-то придумывать в принципе не умел: считал это ниже своего достоинства.

Серёжку родители с малолетства баловали, равно как и брата его и сестру, давали им излишне много свободы. И интеллектуального первенства в школе, с Серёжкиных слов, отметок отличных от них никогда не требовали. Дружка же его неразлучного, белобрысого, все школьные годы родители как постылого пасынка жучили и шпыняли, держали в узде, в ежовых рукавицах даже; заставляли чуть ли не по уставу жить, по уставу же отдыхать и учиться; наказывали за малейшую провинность, за ту же четвёрку в дневнике, не давали расслабиться и отдохнуть: хотели оба, наверное, чтобы он у них был и в классе и в жизни первым.

Вовка, денно и ночно опекаемый бабушкой, которой помогала домохозяйка-мать, был неизменно опрятен, ухожен и чист, был всегда идеально причёсан, приглажен, подстрижен. Серёжка же, не имевший няnek и бабушек, мог запросто заявиться в школу потрёпанным и помятым, в рубашке не первой свежести, разодранном во дворе пиджаке: работавшая на постоянной основе мать его за троими детишками-обормотами следить не всегда успевала.

У Вовки, помимо него самого, была ещё и младшая сестра в семье, такая же яркая чопорная блондинка – капризная воображалистая девчонка, красивая, но и надменная и властная с малолетства, не привыкшая никому подчиняться и уступать, которая Вадику характером не нравились совсем, которой и сам он не нравился. У Серёжки же, помимо младшей сестрёнки, прелестницы и умницы, был ещё и старший брат Андрей – мягкий, добрый, улыбчивый, но совершенно безвольный парень, учившийся в их школе классом выше и никогда не хватавший звёзд с небес, исключительно за счёт родителей выезжавший.

У обоих отцы были начальниками. Только у Вовки – большим: главным инженером химического завода, – а у Серёжки – маленьким: директором городской организации по осушению шахт, насчитывавшей в своём штате всего-то человек двадцать народу, к тому же находившейся, как говорили, на грани закрытия, ликвидации... Отец Вовки был старым, худющим, вечно угрюмым и нудным седым мужиком, болезненно-самолюбивым, высокомерным и доста-

точно неприятным в общении – потому уже, что был через чур властным и твердолобым, всегда и везде навязывавшим свою волю всем, свои на жизнь и нормы поведения взгляды, желавшим, чтобы всё вокруг было только так, как он, пенёк старый, трухлявый, хочет. Серёжкин же отец, наоборот, был достаточно ещё молодым – ровесником отцу Стеблова, был человеком неунывающим и покладистым как и сыновья, не диктатором, не занудой, не букой, который, по рассказам детей, по вечерам на гитаре часто брэнчал, любил кроссворды отгадывать, задачки шахматные решать на досуге. И иногда даже купался зимой в проруби с друзьями – толи от скуки, толи от дури, то ли ещё от чего. Моржевал, короче... И жена его, Серёжкина мать, была довольно-таки простая и общительная несмотря на институтский диплом, для их провинциального городка большую редкость, была начитанная, доброжелательная, приятная миловидная женщина южнорусского типа, не высокомерная совсем, не пошлая, учившаяся с будущим мужем в одном институте когда-то и даже на одном курсе вроде бы, то есть бывшая своему мужу ровесницей-одногодком, – в отличие от матери Вовки, что была лет на пятнадцать, а то и на двадцать моложе Вовкиного отца, которую Вадик прямо-таки терпеть не мог за вызывающе-похотливый вид, за норов.

Кто бы и что ни говорил и ни писал про любовь, которой-де все возрасты покорны, – но всё это чушь собачья, как представляется, пошлые, лживые выдумки и отговорки. Всё равно есть что-то порочное и ненормальное в таких сугубо-разновозрастных браках, от которых дурно пахнет во все времена неприкрытым обоюдным расчётом. Ясно же, что старые, дряхлые, слюнявые и скверно-пахнущие мужики, все эти самонадеянные и самовлюблённые маразматика-сластолюбцы, берут себе юных дев в жёны для одной лишь потехи сладкой и похвальбы: чтобы и «клубнички» под старость вволю покушать, молодость себе через ежедневные чувственные наслаждения попытаться вернуть, здоровье и силы утраченные, жажду жизни; да ещё чтобы покрасоваться-похвастаться перед всеми своей молодой женой, как хвастаются они всегда и везде положением и зарплатой высокой, квартирами, машинами, дачами. Это есть тип мужиков такой, у которых по определению должно быть всё лучше и богаче всех, всё *зашибательски круто*.

Молодые же дамы, с малолетства ушлые девочки-жучки – или *пираньи*, как их ещё называют, – выходят за стариков тоже понятно зачем: чтобы подороже продать себя и одним махом получить за эту подлую сделку то, к чему их подружки глупенькие, романтичные, будут может всю жизнь стремиться. И неизвестно ещё – достигнут ли. Чтобы, купаясь в мехах и шелках, икоркой паусной объедаясь, смеяться-куражиться над подругами за их грошовый идеализм, за девичьи святые мечты и честность.

К таким вот расчётливым и продажным насмешницам-жучкам и принадлежала похоже Вовкина мать, дама по виду здоровая, гладкая, похотливая, нахраписто-наглая; из породы же старых сластолюбцев тщеславных был, соответственно, и его отец, чиновник самого высокого в масштабах их города ранга. Их обоих Вадик, классу к седьмому-восьмому хорошо изучивший уже всю Вовкину семью, не любил за это – потому уже, что сам он рос и воспитывался в совершенно другой семье, в совсем иной обстановке...

Родители Лапина и Макаревича хотя и стояли на социальной лестнице на одной ступеньке, – по уровню и образу жизнь рознились сильно. У Лапиных был собственный в центре города дом – с фруктовым плодоносным садом на пятнадцати сотках и парником, да ещё и огромным двором заасфальтированным, который летом превращался в теннисный корт, зимой – в каток ледовый. Сын их поэтому всё свободное время проводил у себя во дворе и хотя и жил со Стебловым на соседней улице, вне школы с ним практически не общался. Плебея Вадика не жаловали в доме Лапиных: даже и во двор редко пускали, – и у Вовки вне школьных стен были другие друзья – богатые и родовитые.

У Макаревичей собственного дома и сада не было. И жили они в сравнение с Лапиными куда скромней и бедней, но зато и веселей гораздо. Семья их обитала в кирпичной четырёх-

этажке на окраине города, возле самого автовокзала, в добротной трёхкомнатной квартире со всеми удобствами, где Вадика принимали без брезгливых и кислых гримас, и иногда даже кормили. Беда была в том только, что добираться ему до Серёжки было далековато: в разных концах города оба жили. Ввиду чего вне школьных стен Стеблов с Макаревичем тоже, можно сказать, не общались...

Напоследок здесь стоит сказать, для полноты картины, ещё и несколько слов про саму школу, в которой по воле случая соединились наши друзья и в тёплых стенах которой, худо ли, бедно, десять лет просидели-прожили вместе. Так вот, в городе Б***, родном городе Вадика, было всего восемь школ, распределялись в которые дети строго по территориальному признаку: кто возле какой школы жил, тот там соответственно и учился. Четвёртая же школа, на городском холме расположенная, из окон которой город как на ладони просматривался, была здесь вторым (после школы №1) исключением – потому что элитной считалась, в которой со дня её основания учились дети партийных и хозяйственных руководителей. И только оставшиеся от таких ребятишек места отдавались на откуп всем остальным первокладкам, простым, без мохнатой лапы и связей, жившим поблизости от неё, в число которых как раз, по счастливой случайности, и попал Стеблов Вадик, которому здесь повезло страшно! – как и с родной семьёй!

Четвёртая школа – несомненно лучшая в городе – многое ему дала: поставила его, несмышлёныша, на ноги, читать и писать научила, наполнила разум его, интеллект достаточно прочными знаниями. Другие средние учебные заведения города, и это есть твёрдо установленный факт, статистикой тех лет подтверждённый, данными их ГорОНО, ничего подобного ему не дали бы. Из них приличные люди не выходили – потому уже, что не было там приличных учителей, первоосновы любого образования.

Дружки стебловские, Серёжка с Вовкой, попали в четвёртую школу на «законных основаниях», то есть не случайно, а как дети крутых отцов. И Вадик с Серёжкой, ученики первого класса “А”, по обоюдной просьбе сели сразу же за одну парту – потому что три года до этого ходили в один детский сад, в одну группу даже, и уже и там друг другу симпатизировали. Что и зафиксировали многочисленные фотографии, оставшиеся у обоих на память, где они, карапузы крохотные, смешные, всегда и везде стояли или сидели в обнимку. А в третьем классе Серёжка сдружился с Вовкой, с которым они на пару увлеклись гимнастикой и вместе начали посещать детско-юношескую спортшколу. Так что Серёжка, в итоге, и соединил Вадика с Вовкой, на семь последующих лет невольно сдружил их, чему родители Вовкины, особенно на первых порах, были не очень-то и рады. Вадик для них был плебей, “лимита”, быдло, бревно неотёсанное и неумытое. А его родители деревенские, необразованные, совсем недавно обосновавшиеся в городе, были ими, горожанами коренными, аристократией, “белой костью”, всецело и глубоко презираемы.

Вадик тоже не жаловал Лапиных – повторим это, – равно как и белокурого сына их – чистюлю, красавчика и зубрилку. Мягкотелый и изнеженный флегматик Вовка был для кипевшего страстями Стеблова, улицей с малых лет закалённого и обученного, предметом вечных насмешек, колкостей и издевательств, на которые Вовка, естественно, всегда обижался и крайне болезненно реагировал: не разговаривал с Вадиком по нескольку дней, не дружил. Если бы не Серёжка, с детского сада близкий Вадика друг, Стеблов и Лапин вместе бы ни за что не сошлись: у них и в школе были бы свои компании...

Что же касается самой учёбы, – то учились Серёжка и Вовка поначалу лучше Стеблова, оба были любимчиками у Малкиной, ходили у той все четыре года в примерных отличниках и королях. Вадик же в младших классах был хорошистом – потому уже, и об этом писалось выше, что был не дисциплинирован, неусидчив, нелестив, безроден и к учёбе бесстрастен, что не считал пятёрки круглые в дневнике самой важной для себя на тот период жизни ценностью...

А ещё потому, что Инной Алексеевной не был любим, сын простого электрика-то. И первая учительница, у которой чинопочитание и лесть были на первом плане, притесняла его, как могла, на уроках регулярно пощипывала: последним, с двоечниками наравне, в пионеры его приняла, что Вадика сильно задело.

В средних же классах кончилась райская для любимцев Малкиной жизнь, и безвольный и бесталанный Серёжка сразу же скатился до Вадика, твёрдым хорошистом сначала стал, а потом – и троечником. После же смерти отца – в девятом классе это случилось – он, горемычный, и вовсе потерялся и руки опустил, совершенно охладев к учёбе. Вместо этого он поворотил взоры свои в сторону Армии, училища какого-то военного, где, осиротевшему, ему были бы гарантированы кусок хлеба с маслом на всю оставшуюся жизнь и в завтрашнем дне уверенность; где глубокие знания не сильно были нужны, а в первую очередь требовалось желание служить и здоровье.

Посредственный Лапин продержался в круглых отличниках дольше – до восьмого класса включительно. И в первую очередь – благодаря непомерному самолюбию и трудолюбию, дисциплине железной, воле и родительской крепкой узде, которую хорошо дополнял их высокий социальный статус. В девятом классе, однако ж, это всё уже было не актуально, плохо действовало на учителей, которых, к тому же, становилось всё больше и больше. И гордец-Вовка со свистом слетел с образовательных лучезарных высот как снег почерневший, подтаявший, за которые ему не помогали уже зацепиться ни зубрёжка настойчивая, ежедневная, ни ангельское поведение на уроках. А вне школы – авторитет стареющего и теряющего власть отца. В старших классах уже всенепременно требовались мозги – дородные и извилистые. А их-то как раз у Вовки и не оказалось. К немалому его удивлению и огорчению...

4

Но до старших классов было ещё далеко: перед ними были классы средние и достаточно нервный в психологическом плане пятый класс, который мы оставили ненадолго и куда теперь возвращаемся. Так вот, в пятом классе, в первой его половине, по крайней мере, Судьба ещё благоволила к школьным товарищам Стеблова, баловала и превозносила их, “осыпала розами”: и в отличниках оба по инерции ещё продолжали ходить, и хорошими спортсменами числились, красавцами писаными, холёными – любимцами учителей. Славу и почести загребали горстями, как говорится, прямо-таки купались в них.

Про их первые спортивные успехи (и с этого мы и начали собственно) даже написала однажды “Ленинская правда” – популярная городская газета, которую любили, выписывали и читали практически в каждой семье, в которой подробно освещались все городские новости. Та газетёнка тощая, четырёх полосная, кем-то на урок принесённая, долго маячила в школе, зачитывалась до дыр: сначала в классе самими учениками, потом – классным руководителем, потом – учителем физкультуры. И под конец её озвучила на общешкольном собрании Старыкина – в пример и назидание остальным.

Счастливые Серёжка с Вовкой недели две после этого ходили в героях, опалемые каждый день восхищёнными взглядами девочек. Они будто бы взрослее и мужественнее стали за те четырнадцать дней, прибавили в росте, стати, моще телесной; ну и конечно же загордились, заважничали, закозырились – куда же без этого! – отваживались дерзить и хамить одноклассникам – вести себя как настоящие *звёзды*, короче, как триумфаторы.

Позавидовал им тогда, естественно, и Вадик Стеблов... и не просто позавидовал, а твёрдо вознамерился в недалёком будущем стяжать и для себя точно такой же славы – сиречь знаменитым гимнастом стать, чтобы быстренько обойти по успехам Лапина с Макаревичем. И чтобы уже собственный портрет в газете однажды увидеть – на зависть всем...

Глубокая осень стояла на дворе, было холодно, сыро и пасмурно, когда он в сопровождении двух своих дружков-удальцов первый раз переступил порог небольшого гимнастического зала детско-юношеской спортшколы, располагавшейся на северной окраине города недалеко от сельскохозяйственного техникума. И первое, что неприятно поразило тогда его, обескуражило и расстроило даже, была страшная духота внутри, многократно усиленная ядрёным запахом пота – густым, кисловато-приторным, до тошноты противным. Вадик, привыкший проводить всё свободное время на улице, даже поперхнулся в первый момент, по неосторожности глубоко вдохнувши.

«Как они могут здесь заниматься-то? – недоумённо думал он, робко следуя на тренировку за шедшими впереди друзьями. – Тут же совершенно ничем дышать, тут задохнуться можно! ...»

Второе, что неприятно поразило его в спортшколе, – даже больше, чем спёртый и скисший воздух, – был сам тренер Белецкий Артур Евсеевич – низкорослый крепенький мужичок тридцатипятилетнего возраста, рыжий, вертлявый, улыбчивый и пучеглазый. Он не понравился ему сразу же, с первых минут, едва Стеблов его в центре зала увидел в окружении пришедших на тренировку ребят и издали встретился с ним глазами. Смеющимися были те глаза – но очень холодными, как у рыбы, лукавыми, цепкими и противными, от которых хотелось сразу же отвернуться и более в них никогда уже не смотреть.

Не понравились Вадик и излишняя болтливость и развязность тренера, его неестественная игривость и фамильярность с воспитанниками, не прекращавшиеся на протяжении всей тренировки похлопывания и поглаживания тех по спинам, голеньким шеям, рукам и плечам, а часто и по кругленьким попам, обтянутым тонким трико. Фамильярности и развязности Вадик

на дух не переносил, не допускал её в отношении себя ни в детстве далёком, ни в юности, ни во взрослой жизни. А тут её было с избытком, что называется через край. И на этого было противно смотреть, тошно даже.

Потом произошло их краткое прилюдное знакомство, рекомендацией Макаревича подготовленное, во время которого возбуждённый Белецкий долго тряс руку Стеблова на удивление мягкой и влажной для бывшего спортсмена-гимнаста рукой и при этом как-то чересчур вкрадчиво и похотливо заглядывал новичку в глаза – изучал его и при этом гипнотизировал будто бы... А ещё показалось Вадик: он даже и сам не понял тогда – почему, – что тренер будто бы его глазами сальными раздевал: чтобы полюбоваться им, обнажённым, везде потрогать, пощупать, погладить как и других.

От такой дикой и страшной мысли содрогнулся Стеблов, как и от глаз холодных, слащавых, в упор направленных на него, сквозь которые проглядывало, просачивалось наружу пугающе-мрачное тренерское нутро, в безотчётную панику, тихий ужас его повергнувшее. Испугавшийся, он поспешил отвернуться, низко голову опустить, всем естеством напрягшимся слыша внутри себя голос тревожно забившегося сердечка, что вещуньей доброй, заботливой настойчиво зашебетало ему: «осторожно, Вадик, здесь – опасность! Уходи отсюда, скорее уходи!...»

Высвободив руку после пожатия и не подняв головы, крайне смутившийся новичок поспешил тогда отойти от тренера, спрятаться за спинами друзей, что ему и удалось сделать. Растворившись в толпе ровесников и только тогда чуть-чуть успокоившись, он уносил в душе недоброе к Белецкому чувство – чувство глубокой гадливости и досады, брезгливости, мерзости, отвращения. Чем-то пренеприятным и затхлым веяло от Артура Евсеевича, как от помойки или отхожего места смердело, так что даже и мимолётное общение с ним оказалось Стеблову в тягость.

«Чего это он на меня всё время так подозрительно внимательно смотрит – как хищник за жертвой? – на протяжении двух тренировочных часов думал он после этого, ускользая подальше от тренера и его похотливых глаз. – И чего ухмыляется так ехидно, будто заигрывает со мной? Станный он какой-то...»

Минут через десять-пятнадцать после знакомства Белецкого с новичком, когда все воспитанники в полном составе собрались в зале, началась сама тренировка, во время которой у Вадика беспрерывно першило в горле, и он, раздувшийся от духоты, на удивление быстро уставший, постоянно подбегал к окну, где было и посвежее и попрохладнее. Ему ничего не понравилось в школе, ни один гимнастический снаряд – ни кольца с брусьями, ни перекладина. А когда дошло дело до акробатических прыжков, то с ним и вовсе случился конфуз неприличный. Во время первого же по счёту прыжка Вадик так больно ударился копчиком об пол, и так его тогда перекосило от боли после удара, всего словно старого деда скрючило, что о продолжении тренировки в тот вечер уже не могло быть и речи – пришлось травмированному на скамейку сесть.

Ему всё опротивело сразу же, осточертело, побыстрее захотелось домой.

«И чего хорошего они здесь нашли, дурочки? – с горечью думал он, несчастный, приутившийся у окна на скамье, энергично растирая руками ушибленный ноющий зад и при этом следя с тоской за раскрасневшимися от удовольствия приятелями, Вовкой и Серёжкой. – Духота с теснотой, шум, крики, грохот! Да ещё и пОтом всё провоняло насквозь, как в конюшне колхозной, нечищенной! Бежать надо из этого гиблого места, поскорее бежать, пока тут совсем не убили или не задохнулся!...»

Конца тренировки он дождался с трудом, переоделся вместе со всеми в ещё более душной, чем зал, раздевалке, после чего, как ошпаренный, выскочил вперёд всех на улицу и там с удовольствием, тихим восторгом даже подставил голову и грудь под освежающе-влажный ветер. На улице в это время моросил дождь, было сыро и темно, и достаточно холодно. Изне-

женные приятели Вадика, не привыкшие к капризам погоды, быстро сникли и замолчали, куртки свои поплотней на молнии застегнув, понадежнее спрятав головы в шапочки вязанные. А раскрытый и расстёгнутый Вадик, наоборот, воскресал и, прежний бодрый вид принимая, здоровьем и счастьем светился.

И дождь ему был нипочём – был в удовольствие, в радость даже. В радость были ветер шальной, пронизывающий, и лужи частые под ногами. Просветлённый и выпрямившийся, раз-румянившийся как пирожок, широко, по-богатырски плечи расправив, он прямо-таки на глазах оживал, студёным воздухом словно бальзамом лечился.

На улице боль его сразу прошла и горло першить перестало, голова очистилась и прояснилась, какой и была всегда до постылой противной гимнастики. Дорога до дома заняла не более получаса, – но этого времени вполне хватило, чтобы Вадик, прощаясь с товарищами, уже твёрдо решил про себя – окончательно и бесповоротно! – что больше он на гимнастику не пойдёт – потому что не его это дело.

«Нет, не по мне это всё, – укладываясь после ужина спать, итожил он события прошедшего вечера, – и прыжки эти дурацкие, и душный спортзал, и тренер их рыжий и лупоглазый. Глаза у него – как у морского окуня, или жабы болотной, зелёной. Противные такие! стеклянные! – жуть!... Уставится на тебя и смотрит, не мигая, гнида! Да ещё и скалитесь при этом, как с девчонкой с тобой заигрывает, пёс... Неприятный он всё-таки тип, крайне неприятный! И как это Серёжка с Вовкой могут у него заниматься? столько времени ладить с ним? призы какие-то от него получать, награды? Непонятно...»

Так думал Вадик и удивлялся искренне, искренне на сон грядущий недоумевал. А уже на другой день всё встало у него на свои места, успокоилось и улеглось, вошло в привычную колею и норму. Вернувшись в полдень из школы и пообедав наскоро и переодевшись, он с лёгким сердцем побежал гонять мяч по мокрым осенним улицам, что с удовольствием делал почти ежедневно, что делать очень любил, уже и не вспоминая про свою вчерашнюю эпопею. Дружки же его мягкотелые и теплолюбивые вечером дружно засобирались в спортзал: накручивать там обороты на перекладине, сальто разные выполнять, “коня” обтирать штанами и брусью, что обоим нравилось почему-то, что оба очень любили.

Ну а Белецкий... Белецкий после ухода Вадика совсем недолго проработал у них. На него, пучеглазого, уже к Новому году завели уголовное дело, обвинили в богомерзком занятии – педофилии, – отстранили от работы тренерской и спортшколы. Но до судилища дело так тогда и не дошло: понаехавшие из области адвокаты его от суда и тюрьмы отбили, встали за него горой. Своим оказался парнем, этот педрило-Артурка, а кому-то и вовсе родным.

Из города, однако ж, ему предложили уехать: Горком партии и ГорОНО на том сильно настаивали, – что похотливый тренер-гимнаст вскорости и сделал. Собрав свои пожитки скромные, одинокий как перст Артур Евсеевич после Нового года благополучно исчез и ничего после себя не оставил: ни памяти доброй, ни добрых дел, ни даже следов на асфальте.

Посудачили люди какое-то время, поохали, почесали длинные языки, головками покачали – и про Белецкого позабыли. Прочно забыли, и навсегда. Забыли так, будто бы человечка этого маленького и ничтожного, рыженького как подсолнух, на нашей земле и не было никогда; будто бы он, греховодник, на ней никогда не рождался...

5

А споткнувшийся на гимнастике Вадик, с позором покинувший гимнастический зал, на семь с половиной месяцев продлил себе вольную от организованного спорта жизнь – до середины мая следующего календарного года.

В мае он заканчивал пятый класс, и учитель физкультуры, желая подвести годовой итог, а заодно и оценить возможности молодых воспитанников, вывел их пятый “А” на улицу, на беговую дорожку преобразившегося после зимы стадиона и предложил там всем пробежать трёхсотметровый гаревый круг, окаймлявший зазеленевшее молодой травой школьное футбольное поле. По сути своей это был первый публичный экзамен для одноклассников Вадика и его самого, крайне важный, в первую очередь, конечно же для мальчишек, дух воинов-победителей в которых заложен с рождения. Быстроногого чемпиона, помимо отличной отметки, ждали на финише ещё и восторженные глаза девчат – истинных ценителей и почитателей мужской красоты, мужского ума и силы.

Сами девчонки, как слабый пол, вышли бежать первыми. Пробежали вразвалочку, не спеша, кружочек, после чего уступили дорожки парням, от души над ними со стороны потешавшимся.

Парни поднялись с газона, гурьбой повалили на старт, испытывая некоторое волнение.

Всего три дорожки было на стадионе. Стартовать же готовилось человек пятнадцать – пятикратный людской перебор, обернувшийся толчеей на старте. Пришлось парням ввиду этого, как чуть раньше – девчатам, добровольно выстраиваться в шеренги, по три человека в каждой, самолично друг другу стартовые номера раздавать.

Недолго думая, парни в первую шеренгу силком затолкали тех, кто, по их мнению, был фаворитом забега. Попал туда Юрка Шубин – первый в классе атлет, правофланговый на всех линейках, попали естественно и Лапин с Макаревичем, спортивная слава которых вовсю гуляла по школе и которые были просто обязаны победить.

Вадика в первый ряд не поставили, даже и мысли такой ни у кого тогда не возникло, хотя по внешним данным своим и природной физической силе он Шубину мало уступал; Серёжку же с Вовкой заметно превосходил ростом и телосложением. Только вот хвастунишкой он никогда не был, был из простой семьи – и газеты про него никогда не писали. Пришлось поэтому становиться ему в конец – за спины баловней и любимцев, – что он безропотно тогда и сделал, о чём совсем не жалел. Пристроившись за спинами одноклассников и с трудом справляясь с волнением, страхом утробным, дрожью в ногах и руках, он тогда только об одном стоял и истерично думал: как бы ему не отстать далеко на дорожке, не опозориться перед всеми, в “лужу” прилюдно не сесть...

Ну а дальше всё произошло как во сне – калейдоскопично, расплывчато и туманно. И как потом ни старался Вадик поминутно восстановить в памяти то первое своё публичное соревнование – самое, может быть, для него дорогое, самое из всех желанное, на полтора года определившее дальнейшую его судьбу, – ему это плохо всегда удавалось. Сознание зафиксировало внутри лишь отдельные – самые яркие и головокружительные – моменты, да и их он помнил не целиком.

Хорошо запомнилось, что опоздал со стартом, боясь наступить впереди бегущему парню на ноги и уронить, покалечить того; что изо всех сил кинулся потом догонять убежавших вперёд фаворитов и при этом по плохой дорожке бежал – самой относительно футбольного газона крайней и длинной, – потому что другие, ближние и короткие, были плотно заняты. И только одна-единственная мысль осой весенней, разбуженной очумело кружилась тогда в голове, пре-

вращая и старт, и начало дистанции в каторгу: «только бы не отстать от Вовки с Серёжкой! от Юрки того же! только бы удержаться за ними!...»

Потом перед ним, словно по волшебству или чьей-то прихоти доброй, замелькали спины стремительно убежавших вперёд, но после выхода на прямую почему-то вдруг резко сбросивших обороты Шубина, Лапина и Макаревича, которым он на каждом новом шагу невольно наступал на пятки и которые очень скоро стали ему просто мешать. И раздражать стали – слабостью своей беговой, своей неуклюжей медлительностью.

«Ну что вы, парни, плетётесь как черепахи?! разве так бегают лидеры и чемпионы?! – подумал он после первого поворота, удивлённо прислушиваясь к неровному дыханию бегущей впереди тройцы, к тяжёлому топоту их обутых в кроссовки ног. – Чемпионам нужно бегать быстрее и легче!»

Он подумал так – и рванулся вперёд, бесцеремонно локтями медлительных и запыхавшихся передовиков расталкивая, выбежал первым на дальнюю от старта прямую, где уже дал волю себе и своему бурлящему естеству, тяжесть предстартовую окончательно сбрасывая, предстартовые неуверенность и сомнения.

«Поехали Вадик! Давай, мчись, родной! – скомандовал он себе задорно. – Хватит плестись и топтаться за этими тихоходами!...»

Один только ветер весенний помнился ему потом, что разгулявшимся соловьём-разбойником свистел в ушах, который стремительно мчавшийся по дорожке Вадик жадно глотал всей грудью. Сердце его здоровое, к беготне приученное, работало как часы, были легки и упруги молодые ножки. И солнышко майское, жаркое щедро одаривало его своим теплом, будто бы помогая и подбадривая по дороге. И птицы радостно пели в уши свои весенние дифирамбы. Оттого и бежалось ему весело и легко. И триста метров дистанции показались мгновением.

Ласточкой пролетев по дистанции, за вторым поворотом он увидел девчат, плотно вдоль финишной прямой расположившихся; потом мелькнуло в сознании лицо учителя с классным журналом под мышкой, черта поперечная, белая. И всё – конец, финиш... Дистанция для него закончилась так неожиданно быстро, что Вадик тогда только диву дался и мысленно руками развёл от досады и огорчения. Он-то только-только вошёл во вкус и готов был, хотел бежать ещё долго-долго: он и половины не израсходовал сил, может даже и четверти. А тут нате вам – всё, конец! Останавливайся, дорогой товарищ Стеблов, успокаивайся и собирай вещи, как говорится, пыл свой победный гаси, который гасить совсем-совсем не хотелось.

Оглянувшись назад после финиша, довольный и раскрасневшийся, он с удивлением и немалой гордостью за себя увидел ещё лишь только в начале финишной стометровки из последних сил бегущих за ним вдогонку кичливых своих одноклассников, которых обогнал, как выяснилось, метров на сто в итоге. Результат отличный!

Впереди всех, как и ожидалось, бежал к финишу Юрка Шубин; за ним следом уверенно держались Лапин с Макаревичем. Все остальные парни бежали далеко сзади них...

В раздевалке к нему неожиданно подошёл физрук – Бойкий Вячеслав Иванович.

– Вадик, – подозвал он к себе победителя. – Ты спортом каким-нибудь занимаешься? В секции, я имею ввиду?

– Нет, – ответил ученик простодушно. – У себя во дворе только, с ребятами.

– Это всё не то, – покачал головой Вячеслав Иванович. – Тебе нужно серьёзно заниматься спортом – понимаешь? На постоянной основе. Я посмотрел сегодня на стадионе на твой бег удалой и скажу, что у тебя хорошие задатки, парень, очень хорошие для бегуна-новичка. И с лёгкими полный порядок, и с сердцем. Да и ноги у тебя достаточно резвые, динамичные: не топая, по дорожке бежишь – прямо как настоящий мастер... Лыжами хочешь заняться, скажи? – подумав, спросил он вдруг.

– Лыжами? – удивился Стеблов, глаза на учителя выпятив, после чего, неуверенно пожав плечами, спросил: – А где?

Он уже знал из доверительных с одноклассниками разговоров, что их физрук молодой в недалёком прошлом учился в их же четвёртой школе и сам был неплохим спортсменом в те годы, именно лыжами и увлекался, районные и областные соревнования выигрывал неоднократно, медали и кубки разные там получал, которые в школьном музее спортивной славы теперь под стеклом хранились, где их можно было всем желающим подойти и посмотреть, успехами Бойкого и других выпускников порадоваться и погордиться. Потом, когда вырос и в армии отслужил, он смоленский спортивный институт закончил, учителем физкультуры стал и вернулся работать домой, устроился в прежнюю школу, где и трудился уже несколько лет – хорошо, с душой трудился.

– У нас в городской спортшколе, – ответил, между тем, Бойкий, с улыбкой рассматривая растерявшегося ученика. – Гастроном на Коммунарке знаешь? – назвал он известную городскую улицу и магазин на ней.

– Знаю, да. Бываю там регулярно: за молоком и творогом туда хожу по просьбе матушки.

– Ну так вот в этом же доме, только с обратной стороны, есть подвал: в нём-то как раз и располагается наша городская лыжная школа, в которой я ещё занимался, и тоже с пятого класса, помнится... Тренера там очень хорошие: добрые, знающие, компанейские. Специалисты, короче. Хочешь, я с ними насчёт тебя переговорю? – чтоб они тебя к себе взяли? Хорошего из тебя лыжника чтобы сделали – будущего олимпийского чемпиона. Хочешь?

– ...Хочу, – после некоторой паузы ответил без энтузиазма Вадик, смутившийся, с толку сбитый. Предложение Бойкого стало неожиданным для него, почти авантюрным. Но отказывать учителю, время на раздумье просить он почему-то тогда не решился.

– Хорошо, договорились! – просиял физрук, довольный, видимо, разговором. – На днях выберу время, схожу к ним и переговорю; и потом сообщу тебе результат. А ты уже сам после этого сходишь к ним, познакомишься. Уверен, голову на отсечение даю, что тебе там у них понравится. Я сам когда-то, когда был таким же как ты пацаном, с удовольствием там шесть лет занимался. И многое, скажу тебе, там почерпнул в плане сил и здоровья. А теперь вот и тебе от души советую, чтобы и ты там силёнок набрался... Ну что, дружок, по рукам?

– По рукам, – растерянно улыбнулся тогда не соображавший ничего победитель, засовывая маленькую ручонку в крепкую ладонь физрука и ощущая жаркое пожатие.

– Вот и отлично! – на мажорной ноте закончил Бойкий начатую беседу, напоследок даже приобняв Стеблова. – Тебе обязательно нужно заняться спортом – поверь мне! Из тебя может лыжник очень даже добротный получиться, на загляденье. Точно тебе говорю. Начальная база у тебя будь здоров какая!... Ну а теперь беги давай на урок. До свидания!

– До свидания, – ответил ошалевший и от победы и от разговора Вадик и почувствовал тут же, как крепкая мужская пятерня ещё сильнее и жарче стиснула его ладонь, как бы скрепляя пожатием этим внезапно образовавшийся между ними двоими дружеский союз, продлившийся до конца школы...

А уже на следующий день, как только оглушительный школьный звонок возвестил об окончании первого урока, в дверном проёме пятого “А” показалась красивая голова физрука, шарившего по классу глазами.

– Вадик! Стеблов! – громко прокричал он, заведя вчерашнего победителя на первой перед учительским столом парте, и криком этим удивил и преподавательницу пожилую, от многолетнего детского ора уставшую, и класс. – Выйди-ка на минуту: пошептаться надо... Привет! – дружески, за руку опять, поздоровался он, едва ученик в коридор вышел и вытянулся перед ним струной. – Как дела, рассказывай?

– Нормально, – ответил гордый за такое к себе внимание Вадик, чувствуя некоторое волнение. – Учусь вот, ботанику изучаю.

– Правильно делаешь, молодец! Учиться надо обязательно! – и хорошо учиться! – пробасил сияющий Бойкий... и потом, замерев на секунду после вступления пустопорожного, ничего не значащего, вдруг произнёс, внимательно посмотрев в глаза собеседнику. – А я вчера, представляешь, в лыжную школу сбегал, договорился там насчёт тебя, всё рассказал в лучшем виде: как ты на вчерашнем уроке всех на полкруга сделал играючи... Тренера удивились оба, глаза вылупили и разохотились – заявили дружно, в один голос, что пусть, мол, приходит парень, если желание бегать есть, какие могут быть разговоры; пообещали, что непременно возьмут тебя, за порог не выставят.

– Запомни, – с жаром продолжил Вячеслав Иванович, чувствуя по пятикласснику, что тот поддаётся, не возражает, не сопротивляется ему, – их там двое. Один – Николай Васильевич, высокий такой, худой дядька сорокалетнего возраста. Узнаешь его сразу же по хриплому простуженному голосу. Он – старший, руководитель школы. Другой – Юрий Степанович, его помощник, бывший коренной сибиряк, у нас обосновавшийся после службы в армии и женитьбы. Вот такие мужики, поверь! – Бойкий поднял вверх большой палец правой руки. – Трудлюбивые, ответственные, доброжелательные – не прощелыги. Оба – бывшие спортсмены-лыжники, кандидаты в мастера. Дело своё отлично знают... Короче, Вадик, они мне сказали, чтобы ты приходил обязательно, не боялся и не откладывал на потом; что хорошие, талантливые ребята им, дескать, позарез нужны... Так что давай, не тяни с этим делом: сегодня же после уроков и дуй туда, договаривайся – адрес ты знаешь. Придёшь, назовёшь фамилию, скажешь, что от меня – проблем у тебя не будет...

6

Так вот стихийно и неожиданно, случайным, можно сказать, образом и оказался пятиклассник Стеблов воспитанником их городской детско-юношеской спортшколы. После уроков сбегал и записался туда, с тренерами познакомился по наказу Бойкого, узнал расписание тренировок. А уже на следующий день, в 13.30 по времени, он прогуливался не спеша по центральной аллее парка, прохладной и тёмной от раскидистых старых лип, наполненной запахами зелени и цветов, трелями птиц всевозможных.

К двум часам на аллее со всего города собралось человек двадцать парней – воспитанников лыжной школы, – среди которых были и знакомые. Ровно в два пришёл и Николай Васильевич Мохов в сопровождении своего друга и соратника по тренерскому ремеслу Юрия Степановича Гладких. Началась тренировка.

Вначале у всех была получасовая разминка, во время которой питомцы спортшколы успели обегать весь парк; потом начались сами занятия – и парка уже стало мало: для часового кросса потребовались окрестные поля; в конце занятия – традиционная заминка: и опять всей школой вокруг парка трусцой. И так каждый день, каждый месяц... каждый год по сути. Программа занятий для лыжников и бегунов – стандартная.

Иногда заминку заменяли игрой в футбол, а утомительные монотонные кроссы – имитацией лыжного бега на подъёмах, когда парням выдавались палки без колец, и тем приходилось утешить какой-нибудь затяжной подъём раз по двадцать-тридцать. В целом же, тренировочный процесс разнообразием не отличался: бег в различных своих проявлениях ежедневно присутствовал в качестве главной его составляющей, был стержнем всех тренировок, победоносным, стальным их ядром.

«Чем больше бегают лыжник, – любили повторять оба наставника, – тем закалённее и выносливее становится. А закалка и выносливость для нас – основа основ, залог будущих громких побед и успехов... Вы никогда не станете великими спортсменами, да и людьми – тоже, если не научитесь с малых лет терпеть, преодолевать усталость, болезни, апатию и слабость. Большой спорт, как и сама наша жизнь-матушка, – со знанием дела добавляли они, – это ежедневные и ежечасные преодоления себя, борьба с собой и собственной ленью природной, капризами, прихотями и пороками... Запомните это раз и навсегда, зарубите наши слова на своих носах курносых. И кому всё это не по душе, слух режет или нутро корбит – тот может на занятия не ходить, не тратить понапрасну своё и наше время...»

После первого занятия, помнится, выжатый как лимон Стеблов еле ноги передвигал – так он тогда устал, бедолага. Но паники и пессимизма не было, как не было в его душе и тошнотворного чувства брезгливости и досады, что испытывал он полгода назад после спортивной гимнастики. Да! ныли ноги, гудели, не слушались, свинцовой тяжестью налились; плохо слушалось измождённое изнуряющим бегом тело!

Но на душе, напротив, было светло и легко, как после первого, удачно прошедшего свидания. Пела душа его, в праздничном вихре кружась, наслаждалась наступившей весной, новой жизнью, струившимся с неба теплом, чудесной погодой и светом. И прошедшей тренировкой гордилась душа, которую Стеблов, несмотря ни на что, выдержал.

Отлежавшись дома и отдохнув, силы восстановив потраченные, через день он опять тренироваться пришёл и опять три часа кряду носился по парку в компании городских юнцов, приглядываясь и привыкая к новому для себя коллективу. Через неделю он там уже вполне освоился, через месяц сделался своим: будто бы там всю жизнь занимался, будто родился и вырос там, – и уже даже кое на кого покрикивать начал, уму-разуму неумёх и ленивцев учить, правилам поведения.

Коллектив ему в целом нравился, и к нагрузкам он достаточно легко привык. Да и тренеры как-то быстро разглядели в нём, шустром неугомонном паренёке, амбициозном, азартном и непоседливом, родственную себе душу, полюбили и привязались к нему, не сговариваясь, начали его всячески опекать, морально поддерживать.

И они Стеблову очень нравились оба, особенно – Юрий Степанович Гладких, у которого Вадик непосредственно занимался. Стеблов буквально влюбился в него, в его неспешность сибирскую и незлобивость, рассудительность, прямоту, простоту; а влюбившись, уже не мог выполнять его наставления кое-как: плохо бегать, плохо тренироваться. Он старался изо всех сил, мобилизовался и самоорганизовался предельно: занятий не пропускал, не опаздывал, не хитрил, не искал для себя вне тренерских глаз урезаний и передышек, самовольных отлыниваний и отлучек. И всё рвался и рвался вперёд, уже с первых недель стараясь всех обогнать, выбиться в спортшколе в лидеры...

Незамеченным подобное рвение не оставалось – даже и в среде городских лыжников-трудяг: похвалы Мохова и Гладких сыпались на удивлявшего всех новичка как из рога изобилия, ещё более подогревая и заводя того, делая новичка одержимым.

И в итоге достаточно быстро случилось то, что и должно было случиться, к чему всё тогда и шло, имелись все предпосылки. Двенадцатилетний скорый на ногу паренёк, шустрый, подвижный, неугомонный, попав в родную среду, в милую сердцу стихию, сделался фанатиком спорта, фанатиком лыж, без которых он уже жить не мог и которым подчинил всего себя – без остатка...

7

Пятое по счёту лето пролетело быстро, но не бесследно для школьника Стеблова – не так, как оно пролетало прежде. Прежде-то он все три месяца валял дурака: часами купался и загорал, бесцельно слонялся или гонял мяч на улице, по соседским садам то и дело лазил – вишни, сливы и яблоки воровал, особенно почему-то вкусные. Теперь же он тренировался в поте лица, спортшколу дисциплинированно посещал: он из всех сил и на полном серьёзе уже, без трёпа и дураков, готовился в недалёком будущем стать большим и знаменитым на весь мир спортсменом-лыжником.

Такие нагрузки физические, регулярные, даром для него не прошли. И в шестой класс в сентябре Стеблов пришёл крепким поджарым парнем с пружинящей скорой походкой, неожиданно быстро и заметно для всех повзрослевшим и посерьёзневшим, с волевым прищуром, решительностью в глазах, горним огнём горевших, в которых без труда просматривались уже грядущие гипотетические победы, громкая слава, медали, призы и всё остальное, сопутствующее. Поэтому-то разгильдяйство и безалаберность безвозвратно исчезли в нём, куда-то сразу делось ребячество. Он предельно сосредоточен, собран и сдержан стал в каждом своём движении, целеустремлён, спокоен и подчёркнуто-мужественен...

Шестой класс, между тем, добавил новых предметов и учителей, забот и хлопот лишних. Учёба усложнялась, выходила на свой апогей. Не за горами были уже выпускные, за восемь лет обучения, экзамены. Не худо было бы и подумать об этом за три утомительно-длинных летних месяца, на школу настроить себя, на уроки.

Но Стеблову не думалось, совсем-совсем. А мечталось и думалось о другом – куда более для него возвышенном и желанном. Всё лето он с наслаждением вспоминал свой победный на последнем уроке физкультуры бег, восторгом в душе отдававшийся, в сравнение с которым сентябрьская школьная суета, а в целом – и сама жизнь школьная уже стали казаться ему какой-то мелкой мышинной вознёй, на удивление пошлой и суетной. Школа если и интересовала теперь его – то исключительно в одном плане, одном ракурсе. Ему страшно хотелось развить тот весенний успех – бегать почаще и побеждать на глазах у всех, красоваться силой и выносливостью перед физруком и классом, перед теми же заметно повзрослевшими и похорошевшими девочками.

Не удивительно, что, придя первого сентября в школу и подойдя к доске с расписанием, он там не алгебру с геометрией и не русский язык и литературу стал глазами искать, а желанную физкультуру, которая была ему многократно родней и милей, и в которой одной для него тогда был весь жизненный смысл и весь годовой учебный процесс сконцентрирован.

Физкультура не обманула его ожиданий, подарок быстро преподнесла, который в том заключался, что уже на первом занятии Бойкий Вячеслав Иванович вывел класс Вадика на отвыкший за лето от детского шума и смеха школьный ухоженный стадион и предложил там всем ещё раз пробежать трёхсотметровый круг – уже на время. В сентябре в их школе должна была проводиться ежегодная легкоатлетическая спартакиада, и Бойкий отбирал на неё из каждого класса лучших.

Стеблов в этот раз выходил на старт фаворитом. Памятуя о его весенней победе, и здоровяк Шубин, и «великие и ужасные» Лапин с Макаревичем скромно пристроились сзади, без борьбы, до бега ещё, почтительно отдав ему первое место. Стеблову это было приятно видеть и подмечать: самолюбием он обделён не был.

Подходя в тот день к известковой белой черте, пересекавшей наискосок новенькие беговые дорожки, возбуждённый и предельно собранный Вадик почувствовал, набирая воздуха в грудь и по сторонам машинально оглядываясь, как разительно изменилось всё вокруг за про-

шедшие три месяца. Уже не было в окружавшей его природе той весенней бестолковщины и суеты, ребяческого куража, озорства и шума. Наоборот, всё было тихо, степенно, солидно и значимо как-то. Во всём осенняя усталость чувствовалась, достоинство, мудрость, исполненный долг.

Солнце, перебесившееся за лето, уже не так назойливо лезло в глаза, не так яростно слепило и слезило их; поистрепавшийся в летних бурях ветер не так отчаянно упирался в грудь и уже не был ни злым, ни холодно-колючим. Даже и птицы с надорванными от бесконечных любовных песен глотками уже не носились бешено над головой, не задевали волосы шершавыми крыльями: разжиревшие, они расселись на деревьях стаями и важно и гордо взирали на всё сонными и сытыми глазами, лишь изредка встряхиваясь и пихаясь, лениво перелетая с ветки на ветку.

Под стать природе изменился и он сам: повзрослел, поздоровел, посолиднел за три летних месяца, лыжным спортом, секцией городской как свечка церковная загорелся, *харизму* будто бы через лыжи в душе обрёл, Господом Богом дарованную, стержень внутренний или посох духовный.

Удивительно, но ещё весною, стоя на этом же самом месте под знойным палящим солнцем, он был по сути дела никто, неприметный маленький человечек, круглый без палочки ноль – не спортсмен, не отличник и не красавец даже. Так, пустышка-пустышкой, каких – миллион, на кого даже девочки в классе не обращали внимания.

Теперь же он стоял на старте знающим себе цену парнем, у которого за плечами были изнурительные тренировки и школа лыжная, на всю их область известная, выпустившая, по разговорам, уже столько больших и достойных спортсменов в мир, что и не сосчитать! Туда лишь бы кого не взяли, не пустили бы на порог!

А его вот взяли! И с радостью! И он не затерялся и не сломался там, не скис, не пропал бесследно, как иные прочие городские мальчишки-удальцы. Наоборот, стал там любимцем, как кажется, и впереди у него были такие планы на будущее, о которых ни Вовка и ни Серёжка, и ни Юрка Шубин не смели даже и помечтать.

И бег сентябрьский, в шестом классе первый, был уже совершенно другой: без весенней нервозности и суеты, страха отстать, прибежать последним, что ему сильно тогда, особенно на первых порах, мешало. Теперь это был лидера класса бег – уверенный, красивый, мощный бег фаворита, которого фаворитом уже считали все, перед которым почтительно все расступались.

Встав первым на первой дорожке, Вадик уже не осторожничал, не выжидал как раньше – со старта пулей умчался вперёд, давая волю себе, себя с первых секунд раскручивая и распуская... Итоговое его преимущество перед соперниками было на этот раз ещё внушительней и заметней, дистанция закончилась ещё быстрее... Но, как и весной, в душе его после финиша чувство лёгкой неудовлетворённости опять осталось, лёгкой горечи даже – и понятно, почему. Праздник-то, которого он всё лето ждал, к которому так упорно готовился, уж больно быстро закончился, до обидного быстро – вот в чём была беда! А ему этот праздник так сильно продлить хотелось – хоть прямо криком кричи! Ведь столько здоровья ещё в запасе осталось, столько желания и энергии не растроченной! Куда всё это было девать?!

Бежать бы ему и бежать, не останавливаясь, кругов пять ещё, покуда силы не кончатся; и при этом украдкой ловить на себе, чемпионе, восторженные взгляды учителя с секундомером в руках и всех, без исключения, девочек из шестого “А”, за лето похорошевших и подрумянившихся. Ведь они были первыми зрителями его и первыми почитателями. А спортсмен живёт и работает, и существует только лишь и исключительно ради них, своих дорогих и любимых зрителей...

– Молодец, Вадик! отлично пробежал! – похвалил его после забега довольный физрук, с восхищением на него посматривая. – Я гляжу: летом ты времени не терял даром – на глазах растёшь... Ну что ж, готовься теперь к спартакиаде.

– Да я готов, – ответил польщённый похвалой ученик. – Хоть завтра!...

В конце сентября у них была проведена традиционная спартакиада по лёгкой атлетике, где любимцу и протеже Бойкого вновь не было равных, уже среди шестиклассников, и где он показывал удаль и мастерство на глазах всей школы с обоими завучами во главе, самым директором даже. После победного финиша его ждали аплодисменты трибун и многочисленные от учителей похвалы, почётная грамота и небольшой подарок на память в виде крохотной бронзовой статуэтки застывшего в победном рывке бегуна – первая его награда.

Чуть позже его ждала и законная пятёрка в четверти по физкультуре. И всё. Дальше этого в школе Вадика, равно как и во всех остальных школах города, дело никогда не шло. Легкоатлетические соревнования более высокого ранга у них не проводились: отсутствие крытого зимнего манежа превращало занятие лёгкой атлетикой в их глухих провинциальных местах, по многу месяцев в году лежавших под тяжёлым снежным покровом и грязью, в совершенно бесперспективное дело. И “королева спорта” поэтому имела у них жалкий вид.

А вот лыжный спорт, общедоступный и неприхотливый, процветал. И люди, посвящавшие себя ему, традиционно были у них в большом почёте. На него и надо было настраиваться Стеблову – если он всерьёз намеревался в будущем достигнуть заметных в спорте высот, – ему одному себя посвящать, что Вадик, собственно говоря, и сделал...

8

Как только на улице подморозило, и первый белоснежно-чистый ноябрьский снег запорошил дорожки парка, закрыв собою осеннюю непролазную грязь вперемешку с опавшими листьями, спортшкола Вадика в полном составе встала на пересохшие и растрескавшиеся за лето лыжи. И уже через неделю внутри спортшколы были проведены первые квалификационные соревнования, которые наш стремительно набиравший отличную спортивную форму герой безоговорочно и с большим запасом выиграл. В своей возрастной группе, разумеется, самой младшей у них.

Та впечатляющая – теперь уже над товарищами по спорту – победа имела для Стеблова принципиальное значение – в психологическом плане, в первую очередь. Победив полгода назад, весной, своих одноклассников, он невольно, сам того не желая и не стремясь, нашёл для себя путь развития, который более всего соответствовал на тот момент как его физическим возможностям, так и его внутреннему устремлению. И вот был сделан первый, самый важный и самый ответственный по выбранному пути шаг, который оказался весьма и весьма успешным.

Городская лыжная секция – так её ещё называли, – это не шестой класс “А” и даже не четвёртая школа с её посредственными в физическом плане учениками: случайных, слабых парней там не было в принципе. Все, кто туда ходил, изо дня в день занимался, кто принял для себя однажды её жёсткие правила и тренировки, принял и полюбил их, – все они хотели и умели бегать, имели для быстрого бега всё: силы, желание, тренеров хороших. И пусть основная масса тех, кто остался у него за спиной, были сопливые новички, зелёные недоростки по факту, – но ведь и он точно таким же сопливым недоростком был, и он всего-то без году неделю тренировался.

Победивший Вадик был на седьмом небе от счастья, не ходил, а летал по земле, весь буквально светился гордостью и самодовольством. Победа окрылила и укрепила его, первейшим качеством одарила – *уверенностью*: в себе, своих беговых возможностях и способностях, в то, наконец, что весенний выбор его не был случайным. Всё это было крайне важно и необходимо ему как начинающему спортсмену – уже потому хотя бы, что без такой *уверенности* всенепременной и обязательной, граничащей с самоуверенностью, наглостью даже, невозможно заниматься всерьёз ни одним мало-мальски стоящим делом, не то что спортом большим, лыжами теми же. Какой там! Без неё даже и просто жить тяжело – серо, тоскливо и бесприютно.

Победа была тем более кстати и вовремя, что наступала зима. А зима для лыжников – что путина для рыбаков или жатва для хлеборобов, где счастье и радости трудовых будней на солёном поте замешаны! каторжной самоотверженной “пахате”!...

Подводя итоги первой квалификации, что готовность воспитанников к очередному сезону проверила, спортшкола лыжная распрощалась с парком, чрезвычайно уютным и милым, но очень маленьким к сожалению. Вставшим на лыжи детям стало уже тесно в нём, как птенцам оперившимся становится тесно в родительских гнёздах. Для серьёзных “профессиональных” гонок уже требовались иные поля... и совсем иные масштабы.

Занятия с началом зимы у них поэтому традиционно переносились в лес, обступавший город с северной стороны, до которого было километров пять по замёрзшему пруду или столько же – по колхозному полю. И с того момента уже именно лес сделался для спортсменов-лыжников вторым домом, до середины весны предоставив им в безвозмездное пользование свои невиданной красоты и широты просторы и как перина пушистые, не тронутые ветром снега.

Тренировки в спортшколе изменились мало: безоговорочно доминировали всё тот же бег, теперь уже на лыжах, и всё та же упорная борьба с собой, ежедневной ленью, хандрой и

усталостью. Разнообразили спортивные будни, осветляли и освежали их различные соревнования, которых было не счесть.

Так, например, ежемесячно проводились квалификационные забеги на дистанции разной длины, где каждый воспитанник мог достаточно точно проконтролировать и оценить степень своей готовности, очередной разряд получить, самолюбие побаловать-потешить, – которые столько споров и разговоров потом вызывали, вносили в унылую атмосферу школы дух конкуренции, соперничества и борьбы, столь благотворные и полезные для любого здорового развития. А сразу после Нового года, во время зимних каникул, их сборная во главе с Моховым ездил в другой город на областные соревнования лыжников, откуда привезла множество индивидуальных призов и большой серебряный кубок за общекомандную победу. Вадик, по молодости, в тех соревнованиях не участвовал, но победами старших товарищей был чрезвычайно горд и в мыслях тайно примеривался уже к их громкой спортивной славе.

Те примерки мысленные и амбиции безосновательными и пустыми не были, и первая в спортшколе зима оказалась для него удачной во всех отношениях. Он довольно быстро пробежал тогда по юношеской разрядной сетке и к весне распрощался с ней, перейдя во взрослую категорию, получив себе – в тринадцать-то с небольшим лет – второй взрослый разряд, что был делом редкостным и невероятным.

Дистанции для него в связи с этим – и тренировочные, и соревновательные – удлинлись вдвое. Но опасений и горечи не было никаких: скорость физического развития Стеблова намного опережала тогда скорость возрастания внешних нагрузок, и организм его молодой перемалывал каждые новые километры играючи и шутя – с лёгкостью и простотой хорошо отлаженного механизма. Больше скажем: его не по дням, а по часам развивавшийся и укреплявшийся организм настоятельно требовал для себя работы, скучал и томился по ней, как скучает и тоскует, к примеру, собака гончая, когда её привязывают на цепь, без беготни и резвости оставляют.

Стремительный рост результатов, вытекавший из природного дара и редкостных для пареньков его возраста упорства и трудолюбия, уже к весне вывел Вадика в число тех немногих воспитанников, с именами которых тренерский состав спортшколы естественным образом начал связывать в будущем самые смелые планы и самые радужные надежды, окружив таких ребятшек повышенным вниманием и заботой, поощряя их со своей стороны лучшим инвентарём и лучшими для быстрого бега мазями. Как-то сама собой воскресла из небытия и вошла в широкое употребление давно забытая детская кличка Стеблова – “заводной”, – неизвестно кем впервые в секции произнесённая. Именно так с лёгкой руки кого-то стали звать-величать его меж собой и оба наставника-тренера, и почти все товарищи по спорту. И Вадик не обижался ничуть, когда слышал про себя такое, не оговаривал никого, не шипел, интуитивно чувствуя высокую себестоимость клички в лыжной трудолюбивой среде, огромное её в этой среде значение...

9

Закончился же первый в жизни Стеблова лыжный спортивный сезон и вовсе на мажорной ноте. В составе сборной команды своей общеобразовательной школы он выиграл наступившей весной городскую спартакиаду, отделом народного образования патронируемую, которую прежде посещал в качестве зрителя и которую, помнится, очень всегда любил: переживал, болел истово, знал и помнил в лицо всех прошлых её победителей. Малолетний, он по-хорошему завидовал им, на пьедестале почёта стоявшим, махавшим кубками и грамотами над головой. И совсем не думал и не гадал, что через какое-то время и сам, подросши и пройдя через горнило борьбы, окажется на их славном месте.

Проводилась спартакиада в марте, в дни весенних каникул, когда зима в их местности формально уже закончилась как бы, но снега ещё лежало много среди деревьев, и бегать на лыжах поэтому было достаточно комфортно и легко. В нарядно украшенном по такому случаю парке три дня подряд – в пятницу, субботу и воскресенье – проводились увлекательнейшие лыжные эстафеты, на которые все школы города в приказном порядке выставляли ежедневно по команде в одну из трёх поочерёдно соревнующихся возрастных групп: младшую, среднюю и старшую. Открывали соревнования, как водится, “малыши”, где обязаны были бежать ученики пятых-шестых классов; седьмые и восьмые классы соревновались на другой день; завершали же спартакиаду в воскресенье старшеклассники – ученики девятых-десятых классов, а также студенты двух городских техникумов: электротехнического и сельскохозяйственного. Наблюдали за эстафетами все три дня представители горкома партии, горкома комсомола, ГорОНО и пресса. Победителям вручали дорогие по тем временам призы...

Спортсмен-разрядник Стеблов, безусловный лидер у себя в школе среди шестиклассников, был задолго до старта уведомлен Бойким о предстоящем ответственнейшем соревновании.

– Давай, готовься, – как с равным говорил он с ним, в начале марта поймав его на перемене за руку. – Я рассчитываю на тебя и жду только первого места. Мне тут Мохов недавно рассказывал про твои успехи: смеялся, что ты запросто можешь один все три этапа отмототить.

– Ладно, – ответил тогда ученик, польщённый, и целых три недели потом, оставшиеся до соревнований, особенно усердно и долго носился по лесу, накручивая лишние для себя круги...

День открытия спартакиады совпал по времени с предпоследним днём марта – месяца, в целом скудного на тепло. Но на этот раз природа сделала исключение, и солнце уже утром светило так, что невозможно было широко глаз открыть, поднять кверху голову. По всему чувствовалось, что лето было не за горами – было близко, где-то рядом совсем, обещая уничтожить скрипучий и заметно-потяжелевший снег, в воду превратить его, в слякоть. И спортсменам-лыжникам поэтому нужно было спешить, ловить последние денёчки...

Придя утром в пятницу в парк со спортивной сумкой и лыжами под мышкой, Вадик ещё на подходе к центральной аллее, месту общего старта, был поражен тем количеством народа, что толпился в ожидании предстоящего зрелища.

«Надо же, уже собрались, – подумал он, оробев, продираясь сквозь плотные людские толпы к месту сбора четвёртой школы. – И сколько!... Раньше-то, по-моему, столько народу на эстафеты не приходило...»

А тут ещё и музыка неслась из громкоговорителей, сосредоточиться и настроиться не дававшая, а по дороге – ну как на грех! – всё сплошь знакомые попадались лица – молоденькие девочки по преимуществу: с улицы их, со школы. Они приветливо здоровались с ним, про самочувствие спрашивали и настрой, в один голос победы желали.

Он растерялся и занервничал без привычки, увидев шумящее людское море вокруг, важных тётенок и дядечек в парке, фотографов из газет, журналистов, десятки учителей. Ответственность была колоссальная, для отрока – запредельная. А у него ещё опыта не было никакого груз ответственности нести, предстартовые волнение преодолевать, от шумка трибун отключаться: это же были его первые крупные публичные соревнования и первые серьёзные зрители. А зрители – и это Стеблов отлично знал по себе, – они везде одинаковые: капризные, нетерпеливые, жестокосердные, готовые кумиров и чемпионов до небес поднимать, а неудачников и проигравших топтать ногами, нещадно освистывать и материть, награждать самыми уничижительными и оскорбительными эпитетами. С ними ухо нужно держать востро, от них по возможности нужно держаться подальше. Им только одних побед всякий раз подавай, одних рекордов немыслимых, громких – на другое они не согласны. Неудачи Вадику они не простят – это как пить дать! – ни за что не простят даже и второго места...

Неудачи и не было, слава Богу, а была победа – красивая, яркая, убедительная! На спартакиаде в пятницу Стеблов бежал так, как не бегал ранее никогда, после финиша лишний раз убеждаясь в том, что в жизни нашей брэнной и на праздники крайне скудной, если не сказать скупой, ничего не бывает зря и ничто не проходит бесследно: ни сотни пропущенных через себя километров, ни сотни пропитанных солёным потом рубашек. Всё это сторицей к человеку потом возвращается.

Вот и к нему его трудолюбие и упорство с лихвой вернулись – именно тогда, что существенно, когда он помощи этой свыше больше всего ждал и просил. Его, как лидера сборной, поставили бежать на третьем, заключительном, этапе. И, уйдя на дистанцию пятым: так тогда всё неудачно для них в эстафете сложилось, – он ходом быстренько сумел передовиков догнать и обогнать, да ещё и финишировать с таким отрывом, что ему долго и с уважением жали руку потом свои и чужие тренеры и учителя, и даже поверженные и поражённые его стремительным бегом соперники.

– Чем лыжи-то мазал, Расскажи, поделись секретом? – наперебой допытывали они его после финиша, – что они так здорово у тебя сегодня катили?

– “Рексом”, – шутивно отвечал он всем, счастьем, блаженством светившийся, называя марку самой лучшей в те времена лыжной импортной мази, про которую только слышал, но которую и в глаза не видал. Не мог же он им, в самом деле, ответить то, что хотел, что вертелось у него на языке постоянно: что надо, мол, побольше работать, ребятки, получше тренироваться, а не прятаться от тренеров по кустам, не пропускать занятий. Ответом таким, правдивым и точным, он бы обидел далеко отставших от него на прошедшей эстафете парней, разозлил и унизил их, против себя настроил. А обижать и унижать ему в тот чудный, воистину божественный день никого не хотелось...

Страсти закончившейся гонки улеглись не скоро, вылились после финиша в бурное обсуждение – каждого этапа конкретно, каждого конкретного бегуна. Проигравшие оправдывались как могли, победители кивали в ответ снисходительно головами, а всё знающие и умеющие зрители с тренерами во главе давали вечные свои советы. Когда все, наконец, успокоились и выговорились, а участники эстафеты сбросили лыжи с ног, переоделись и переобулись, – состоялось награждение победителей призами и подарками, после чего команду Вадика прямо на пьедестале сфотографировали для районной газеты.

На этом официальная часть первого дня городской спартакиады школьников завершилась, и можно было смело расходиться всем по домам или же идти по парку гулять: кушать горячие бублики и пирожки, запивать их сладкою газировкой, что продавалась тут же в киосках.

Спрятав в сумку свой приз и простившись с командой, Стеблов в компании брата и сестры, пришедших на соревнования и горячо за него всю дорогу болевших, собрался было уже уходить домой, когда его вдруг окликнул сияющий счастьем Бойкий:

– Вадик! подожди секунду!

Подбежав к семейству Стебловых, которых хорошо знал и которые все в одной школе учились, Вячеслав Иванович опять стал с жаром трясти руку старшего брата-победителя, восторженно приговаривая при этом:

– Поздравляю тебя, от всей души и от всей нашей школы поздравляю! Молодец! Дал ты сегодня всем этим кичливым прохвостам жару! Как слепых щенков всех сделал! Как черепах!... Если б не ты, Вадик...

– Да ладно, – зарумянился смущённый и уже захваленный и перехваленный ученик, руку высвобождая, что от непрерывных пожатий болеть начала. – Чего всё про одно и то же талдычить. Закончилось всё уже. И благополучно закончилось.

Бойкий осёкся и замолчал... но отходить не спешил, стоял и топтался около. Было заметно по его лицу, что он чего-то ещё победителю хочет сказать – но не решается.

– ...Ты себя как чувствуешь-то, а? – выждав паузу, вдруг спросил он, пристально посмотрев на Стеблова.

– Нормально, – последовал простодушный ответ, вполне, надо сказать, искренний.

– Не очень устал после всего этого? силёнки-то ещё остались?

– Остались... и не устал. На тренировках в секции куда тяжелее бывает.

Бойкий слушал внимательно, даже вкрадчиво как-то, с прищуром посматривая на ученика, медлил, не отпускал того.

– ...А завтра что хочешь делать? – вдруг неожиданно спросил ещё, почувствовав видимо, что не в меру выносливый ученик и вправду не сильно-то утомился.

– Ничего. Здесь, в парке, буду наверное: поболее за нашу школу, наших ребят.

– ...А может, – Бойкий запнулся на полуслове, скривился и покраснел, подбирая нужные для разговора слова, самые в той щекотливой для него ситуации правильные, – может... пробежишь тогда завтра ещё разок, коли уж всё равно сюда приходить собрался и коль не устал особенно?

Спросивши это, он пристально, в упор тогда опять на Стеблова взглянул, стараясь угадать его настроение.

– Завтра?! – удивлённо переспросил Вадик, сразу и не понявший вопроса. – Завтра же восьмиклассники побегут, средняя группа!

– Ну и что?! – натужно засмеялся Вячеслав Иванович. – Ты думаешь, они лучше тебя бегают?! Да там такие тегёхи есть! – ужас! Смотреть тошно!... У меня завтра на втором этапе хочет один такой вот нерасторопный тухтяй бежать; прямо боюсь за него, честное слово: он мне, чертёнок поганый, всё дело испортит... А заменить его некем, представь: другие и вовсе с лыж падают.

– Что ж у нас в седьмых и восьмых классах лыжников нет? – продолжал удивляться Стеблов, пораженный услышанным.

– Нет, – тихо и просто ответил физрук. – Таких, как ты, мало.

Он замолчал, заулыбался глупо, что ему совсем не шло, и потом спросил ещё разок, совсем уж просительно и неуверенно:

– Ну что, пробежишь завтра? выручишь меня? Или как?...

Вадика тогда, помнится, даже в жар бросило – до того неожиданным и чудным было сделанное ему предложение. От неожиданности он растерялся, обмяк, будто в яму глубокую провалился, не имея при этом сил ни ответить что-либо учителю, ни даже что-либо толком сообразить...

– Тебе, главное, не отстать далеко – и всё, – робко, но настойчиво продолжал увещевать его, между тем, физрук. – А на последнем этапе у нас парень сильный бежит – Мишка Васильев из вашей секции – знаешь, наверное, его. Да, конечно же, знаешь. Он – ломовой мужик, резвый, и всё сделает как надо... Ты же, главное, не отстань! мне второй этап не завали! – и уже за одно это тебе скажу большое-пребольшое спасибо!... Ну что, пробежишь, а? – Бойкий присел даже, по-собачьи преданно заглядывая в глаза как-то вдруг сразу скисшему победителю. – А я тебе завтра за это сам лыжи твои мазью смажу, сам разотру – ты только выручи: пробеги!..

«Завтра опять бежать, опять ночь не спать, мучиться, волноваться, – только и успел тогда с укоризной подумать Вадик. – Хорошенькие дела! Как будто в нашей огромной школе кроме меня и нет никого – я один должен за всех отдуваться».

Всё это было так неожиданно и так неприятно ему, никогда не терпевшему авантюры и сюрпризов, любившему заранее настраиваться на любое дело, до мелочей просчитывать и прокручивать его в голове, до самых ничтожных подробностей мыслями добираться. А тут уже завтра – старт, да ещё какой: на другой совершенно дистанции, с другими соперниками, сегодняшним соперникам не чета.

Он хотел было что-то сказать вначале – возразить, объяснить, оправдаться; потом отказаться решительно, но по-хорошему – без взаимного неуважения и обид. Но глаза учителя в тот момент были до того просительные и жалостливые, что послать его куда подальше у покладистого Стеблова не хватило сил. Любимого учителя, в затруднительное положение вдруг попавшего, ему стало элементарно жалко.

– ...Ладно, не волнуйтесь, – сухо ответил он после недолгой паузы. – Выручу Вас, пробегу.

Он согласился – и почувствовал тут же, как от праздника и победы громкой не осталось в его душе и следа: сгинули победа и праздник в новых тревогах и волнениях, туманом сырым и холодным окутавших вмиг его, в сравнение с которыми волнения последних дней показались просто игрушечными...

Он не отстал далеко на своём этапе: вторым получил эстафету, вторым её и отдал, задание руководства выполнил, – хотя ему всю дистанцию топтали пятки бегущие следом соперники, прямо-таки как собаки сворные нервы ему трепя, не давая расслабиться, перевести дух, даже и по сторонам посмотреть не давая. А уж последний участник команды, сильный лыжник Васильев Михаил, их секции второразрядник, завершил тогда дело победным концом, как день назад завершал его и сам Вадик.

Радости Бойкого и на этот раз не было предела: второй день подряд он с учениками школы перед объективами фотоаппаратов позировал, второй день обильно собирал отовсюду рукопожатия и призы. Радовался Бойкий успеху свалившемуся, радовалась собранная им наспех команда... Один только Вадик не радовался тогда вспышкам фотографов и поздравлениям – потому что смертельно устал: силёнок у него, двукратного чемпиона, на всеобщую радость не было. Он и на пьедестал почёта с великим трудом забрался, с неохотой там стоял, пошатываясь на его вершине. Потому что выжал из себя буквально всё – до последней капельки...

В воскресенье, в двенадцать часов дня, спартакиада юных лыжников завершилась, когда были розданы последние, приготовленные для финишировавших старшеклассников, призы. Завершилась она яркой победой учащихся четвёртой общеобразовательной школы, выигравших две эстафеты подряд – в первых двух группах. В самой престижной, старшей возрастной группе, выиграть они не смогли. Но даже и там они заняли почётное третье место.

Спартакиада закончилась, в историю ушла. За ней завершились и сами каникулы. И осталась впереди только последняя четверть, самая короткая по времени, но самая утомительная из всех. Шестой класс, таким образом, столь памятный спортивными успехами и победами Вадика, заканчивался, готовя ему напоследок неожиданный и, безусловно, приятный сюрприз.

Придя в начале апреля в школу, он с удивлением и гордостью нескрываемой увидел свою фотографию на доске почёта на третьем этаже, недалеко от учительской, где находился их школьный спортивный уголок славы и где вывешивались фотографии учащихся восьмых, девярых и десятых классов в основном, вносящих наиболее весомый вклад в копилку школьных побед и рекордов. Ученики других классов естественным образом, в силу физической немоши и недоразвитости своей, туда попадали редко. Вадик Стеблов, таким образом, составил здесь исключение, став единственным шестиклассником, удостоенным подобной чести за всё время существования спортивного уголка, собою многих достойных парней потеснив, которые были и старше его, и гораздо мощнее и здоровее.

Это был несомненный аванс, щедро выданный ему Бойким Вячеславом Ивановичем в счёт его будущих оглушительно-громких побед, которые, как думал, как мечтал физрук, были не за горами...

10

По мере того, как росли спортивные результаты Вадика, его спортивный авторитет и слава, – его успехи на образовательной ниве, и без того не Бог весть какие заметные, наоборот, всё более нивелировались и блекли, сводились к нулю, со стороны производя безрадостную картину. По-другому здесь, впрочем, и быть не могло: силы человеческие не беспредельны. А наш одержимый спортом герой как-то уж больно нерасчётливо и необдуманно выкладывался на тренировках, прямо-таки изводил себя на лыжне – неистово и самозабвенно. Куда такое годилось?! Так и воспитанники спорт-интернатов не все живут, и даже и не многие.

Но он по-другому не мог, связывая с лыжами слишком большие планы и будучи по натуре максималистом, живя с малых лет по принципу: *любить – так королеву, воровать – так миллион*. А уж если занялся спортом – то непременно надо добаться до сборной команды страны и звания “заслуженный мастер спорта”, память по себе в народе оставить рекордами и победами. Чтобы не жалеть потом о впустую потраченном времени, силах; чтобы не одну лишь грязь и пот вспоминать.

Неудивительно, что с такой психологией абсолютно-нерасчётливой и ломовой на школу силёнок мало уже оставалось с её утомительными уроками и заданиями, всё возраставшими и усложнявшимися день ото дня, внимания, времени по максимуму требовавшими, тех же физических сил. Поэтому школа средняя, общеобразовательная, с определённого времени начала его угнетать, гирею на ногах повиснув; а порою – даже и мучить, и раздражать. Как угнетали, раздражали и мучили Вадика и сами учителя своими ежедневными зацепками и придирками.

Наибольшей остроты конфликт между спортом и образованием достиг у Стеблова в тринадцать с половиной лет, когда их седьмой класс “А”, в связи с переизбытком учеников в четвёртой школе и нехваткой свободных аудиторий и парт, был переведён в вечернюю смену. Для Вадика такой переход был крайне нежелателен и даже вреден по сути своей, поскольку пик его жизненной и, в первую очередь, умственной активности физиологически приходился как раз на дообеденные часы: он был стопроцентным «жаворонком».

Поэтому-то в шестом классе том же, отсидев до обеда за партой положенные уроки и уже потом только идя на тренировку, он, даже и не занимаясь дома, с лёгкостью выезжал на том, что успевал запомнить и понять на утренних и дневных занятиях. А запоминал и понимал он многое, цепкой и ёмкой памяти благодаря, как и способности быстро анализировать, думать, простенькие задачки решать, полученной от Бога и от родителей. Всё это, взятое вместе, давало ему возможность в общеобразовательной школе чувствовать себя вполне уверенно, бодро у доски отвечать и даже получать за свои ответы хорошие отметки.

Теперь же всё поменялось с точностью до наоборот, и каждое утро он стал пропадать в парке сначала, а потом и в лесу, откуда не спешил возвращаться.

Прошедший учебный год оставил в его памяти яркий след, может быть – излишне яркий. Спортивные успехи прошлой зимы, II-й взрослый разряд, фотография на доске почёта, похвалы и уважение тренеров, физрука того же, как и повышенное внимание со стороны подруг, чего ранее не наблюдалось, – всё это распалило и ошастливило его безмерно, как игрушку детскую завело, что юлою в быту называется. Но и цену за это потребовало немаленькую – заставило про учёбу напроць забыть, окончательно потерять в лесу разум и голову. Спортшкола лыжная, за счастье, внимание и успехи ответственная, фотографии и призы, сделавшая для него всем – святыней, идолом, божеством! Она затмила собою полностью школу среднюю...

А тут ещё и Николай Васильевич Мохов осенью седьмого класса подлил масла в огонь, и без того ярко и жарко горевший.

– Всё у тебя будет хорошо, поверь мне, – заявил он ему однажды на тренировке, видя, как Вадик старается. – Главное: не ленись, не сбавляй обороты и внимательно слушай, что я тебе говорю, чётко выполняй мои требования. И тогда будешь бегать как Колчин Паша или Слава Веденин, а может даже и лучше их, многократно лучше... У тебя есть всё, чтобы стать настоящим лыжником, – выносливость, скорость, воля, амбиции. И нужно только эти драгоценные качества и дальше в себе культивировать и развивать, тренироваться подольше и побольше – через усталость, сомнения, всякие там “не хочу” и “не могу”, что для любого большого и важного дела смерти подобны. Мастерство – запомни! – штука капризная и ревнивая: как девица красная полной отдачи требует. Чуть-чуть ослабил внимание и напор – и проиграл, с носом, с рогами остался! Она, распутница, к другому быстренько убежит и даже ручкой тебе на прощание не помашет...

Вадик слушал внимательно наставления тренерские, слово в слово запоминал... и не жалел себя, не щадил, как плетью подстёгнутый именами Колчина и Веденина, гремевшими на всю страну. Тренировался он теперь четыре, а то и пять дней в неделю вместо положенных трёх и выкладывался на тренировках по максимуму, про запас ничего не оставлял; домой возвращался к обеду в прилипшей к спине рубашке, в куртке, мокрой насквозь, с исхудалым жёлтым лицом, одну лишь усталость смертельную отображавшим. Выпив прямо с порога целый чайник воды, он ложился потом на диван животом вверх и долго лежал так с прикрытыми плотно глазами, не двигаясь, не шевелясь, прислушиваясь только к тому, как ноет и страшно болит, пощады и отдыха просит его перетруженное на тренировке тело.

Частенько случалось и такое – когда он особенно переусердствовал на лыжне, – что его поташнивало, голова кружилась, было трудно с дивана встать. И ему тогда даже и есть не хотелось – вот в чём была беда. Хотелось лишь одного – немедленно уснуть крепким сном и не просыпаться до вечера...

Но спать было нельзя: в два часа пополудни начинался в школе первый в вечерней смене урок, – и нужно было подниматься и собираться поэтому, а перед уходом ещё и хоть что-то на бегу почитать, порешать. Так что не до сна ему было тогда, не до отдыха... и даже и не до еды: он уходил в школу голодный часто, растерзанный и разбитый, больной, ни к одному уроку как следует не подготовившийся.

Какие уж тут занятия в таком состоянии? какие склонения и падежи? Он сидел на уроках – и только носом клевал, ничего не слушая, не понимая, ничего не желая ни слушать, ни понимать. Ему, элементарно, спать хотелось, вытянуться где-нибудь в уголке и уснуть. И чтобы не дёргали его, не будили.

Поэтому когда его поднимали и спрашивали, – он только моргал глазами как попугай и тупо молчал, на учителя сонно пялясь; вызывали к доске – стоял истуканом. Ему пытались что-то растолковать, вдолбить, разъяснить на пальцах, – а он не имел сил напрячься и понять услышанное. Потому что все силы свои он отдал уже – задолго до уроков: он тратил их на лыжне.

Он и домашних заданий не выполнял, и контрольные решал плохо, скверно писал диктанты. И всё время только об одном на постылых занятиях думал, с тоской разглядывая за окном вечернее звёздное небо: о последнем школьном звонке и о койке тёплой, домашней, до которой хотелось как можно быстрее добраться и сразу же завалиться в неё и заснуть. Дать возможность телу расслабиться...

То был самый тяжёлый период в школьной жизни Стеблова за все её долгие десять лет, самый в психологическом плане нервный, когда он мысленно уже выражал сомнение в целесообразности дальнейшего обучения и пребывания в школе и когда из твёрдого середняка, середняка-хорошиста, скатился почти что в “болото”. На зимние каникулы он ушёл, имея в дневнике за первое полугодие сплошь удовлетворительные оценки. Исключение здесь соста-

вили лишь твёрдая пятёрка по физкультуре, да две четвёрки по алгебре и геометрии – любимым, после физкультуры, предметам Вадика. С другими же предметами был полный мрак и обвал – без какого-либо впереди просвета.

Внутренне он уже был готов в тот момент махнуть на школу рукой, вычеркнуть её, надоедливую, из круга своих повседневных забот и внимания... Если б ни мать его и ни её горькие по ночам слёзы, что смогли удержать первенца от столь рокового шага, вымолить у Господа помощи...

11

О матери Вадика, Антонине Николаевне Стебловой, можно рассказывать долго-долго. Хочется посвятить ей, безропотной и беспрекословной рабыне Божией, всецело преданной Замыслу и Воле Творца, целую главу, целую повесть даже. Или – роман. Достойна она и хвалебной повести, и романа, и целого корпуса пухлых увесистых книг, самых восторженных и прекрасных, – ибо была из той удивительной породы женщин, которые и сами горят всю жизнь горним не затухающим ни на минуту огнём, и зажигают этим огнём других. Мужей и детей – в первую очередь. Огромное счастье для каждого смертного – ребёнка ли, мужа ли, сестры или брата – рядом подобный источник жизненной силы иметь, источник радости и надежды, беззаветной и бескорыстной любви, который на протяжении целого ряда лет тебя неусыпно поддерживает и согревает, на правильный путь наставляет, лелеет и воспитывает изо дня в день, всё до капли тебе отдаёт – и ничуть не жалеет об этом. Как Солнышко то же! Это такое чудо великое и всеблагое, которого словами не передать, которое можно лишь самолично, однажды лишившись его насовсем, понять и всем осиротевшим сердцем прочувствовать!

И другое хочется здесь сказать, не менее первого важное и значимое. Хочется особо выделить и подчеркнуть, что не будь таких самоотверженных и фанатично преданных Божьему Промыслу женщин в России, не рождайся они периодически в ней на протяжении всей её славной и трудной истории, – Россия бы долго не устояла: об этом можно совершенно твёрдо и определённо сказать. Растерзали бы её, горемычную, в пух и прах бесчисленные недоброжелатели-супостаты, в руины превратили, в пепел, в небытие. И даже крестика деревянного в память о ней не оставили бы.

Никто за неё, терзаемую и поруганную, не вступился бы, не пролил кровь, не сложил в смертельном бою свои буйны головы. Не для чего было бы жить нашим русским витязям-богатырям, былинным Ильям Муромцам и Святогорам, равно как и героям нынешним, – некого защищать, не за кого сражаться. Никто бы не поднял и не позвал, не вдохновил их на подвиг во славу Родины, на борьбу, не научил уму-разуму, нравственно не просветил и не напутствовал. Никто бы, наконец, даже и тех редких добровольно-поднявшихся и уразумевших, не благословил и не осенил в темноте всепобеждающим крёстным знаменiem, что Божьему оберегу сродни. Который, в свою очередь, любой брони и защиты крепче.

Откуда вдруг взялся в её тощей и впалой груди этот дивный огонь? кто запалил его и почему именно в её груди запалил? – не будем докапываться, читатель, ввиду бесполезности этого: *“ибо Дух дышит, где хочет!”* Скажем лишь, что не семьёй нищей и обездоленной подогревался, однажды запалённый, он, не местом рождения определялся. Ибо родилась Антонина Николаевна в деревне дикой, глухой, затерянной на юге Тульской области, где кроме новоиспечённого колхоза в годы её рождения и не было-то ничего, где горлопаны и голодранцы большевики, свирепые и хищные как собаки, во время недавней коллективизации и под шумной маркой её подчистую всё частнособственническое добро разграбили и растащили... Была, правда, у них в деревне школа своя – но четырёхлетка. И преподавала там всего одна-единственная учительница – худая невзрачная женщина неопределённых лет, на один глаз слепая, получившая образование ещё до революции.

И вот среди всеобщего мрака этого, невежества, голода, нищеты, с малолетства её окружавших, мать Вадика сумела каким-то немислимым образом сберечь и пронести целёхоньками через нелёгкую жизнь свою не только жар и пламень души, но и какую-то совершенно невероятную и необъяснимую тягу к Знанию, Свету и Слову, которой она отличалась с тех самых пор, как начала говорить, которой выделялась из общей массы родственников и односельчан и поражала всех, с кем только потом общалась, кто знал её лично. От кого она унаследовала эту тягу и почему именно она одна среди трёх братьев своих и сестры? – загадка,

подарок Судьбы, Всемиловейший Промысел Божий! Но только распорядилась она этим подарком, и это вторично и всенепременно надо выделить и подчеркнуть, в высшей степени бережливо и благодарно!...

Судьба же её была трагичной с рождения, как две капли воды похожей на судьбы многих добропорядочных русских людей, имевших несчастье (а может и наоборот – счастье; поди теперь, разбери!) появиться на свет, жить, учиться и работать в страшные и голодные 1930 годы; похожей на судьбу и самой России, заболевшей в начале XX века **ужасной болезнью – Революцией**. Трагедия началась издавна: с деда её по отцу и его большой и крепкой семьи, некогда сытой, одетой, ухоженной. Дед этот, по её собственным редким и скупым признаниям, был мужик о-го-го какой! – непьющий, двуличный, трудолюбивый, хозяйственный и волевой, любивший во всём порядок и лад, стремившийся к достатку, комфорту и сытости. Оттого и семья у него была на загляденье: хоть книги поучительные с неё пиши или фильмы снимай назидательные. Оттого и прозвали его в деревне родной *Колчаком* (в честь легендарного адмирала А.В. Колчака – героя Русско-японской войны и бесстрашного исследователя Арктики при Царе; Верховного главнокомандующего Белых войск в Гражданскую), а детишек его – *колчаковскими*.

Такие громкие клички, понятное дело, просто так не дают; такие клички, как правило, люди дают из зависти. А завидовать, по рассказам всё той же матери, было чему: и полным дедовским закромам, и его сытой и ухоженной скотине. И добротному дому его завидовали, дому-пятистенку, выделявшемуся из всей деревни качеством и красотой, жене молодой и здоровой, детям. А ещё завидовали деньгам, что водились у него в избытке... И хлебом дед торговал, картошкой той же, мёдом и яблоками; и в Москву за товаром регулярно ездил, сезонных рабочих – батраков – периодически нанимал, когда не в силах был справиться с обильным урожаем сам, – но и платил им за работу, за подённый труд как положено, как другие платили, по тем же расценкам, поил и кормил досыта. Батраки не жаловались на него, наоборот – просились в услужение сами...

Просились – но всё равно завидовали, копили яд и мерзость в душе, и посылали в адрес “хозяина-кулака”, благодетеля их, между прочим, ежевечерние тайные проклятия.

Накапливались проклятия в подлых людских сердцах, в мраком покрытых душах, медленно тлели и бродили там, потихонечку разъедавая и разлагая их своим смертоносным ядом. И так бы и погибли, истлели и самоликвидировались в конце концов вместе с самими завистниками-шептунами... если б ни **Великая Смута** начала века – **Русское землетрясение-Революция**, распалившая гниль человеческих душ до невиданной доселе Злобы и выпустившая ту Злобу наружу, предоставив ей для разора-гульбы необъятный русский простор, поля широкие, русские.

И уж погуляла Злобушка по Руси, порезвилась-потешилась на славу, что называется! попила русской православной крови сполна! попарила Святую матушку-Русь в кровавой сатанинской бане!...

Прадед Вади́ка, как “кулак-миroeд”, попал под топор Русской Смуты одним из первых (после Царя и элиты патриотической, духовной, светской и военной аристократии): зимой 1930 года его с женою и старшим сыном в Архангельскую область сослали, в непригодные для жизни места, и сделали это с особой жестокостью и цинизмом. Однажды приехали рано утром в деревню чекисты и комиссары – объявились внезапно, как снег на голову, – вывели их из дома в чём мать родила, посадили на телегу под револьверными дулами и увезли в район, ничего по дороге не объясняя. Даже хлеб и одежду не позволили взять про запас: в чём были, бедные, в том и поехали на новое место жительства.

В районе собранных “кулаков” запихнули в вагоны товарные и погнали на север как скот – голодных, холодных, ополумевших. Кто их там, арестованных, по дороге кормил и поил, лечил, обувал, одевал?! Кому это было нужно?! Да никому! Нужно было как раз обратное: чтобы загнулись все они побыстрее и свет марксизма не застили. В стране разворачивалась и набирала ход широкомасштабная кампания – *Коллективизация* – и параллельно другая, не менее важная, под названием “*ликвидация кулачества как класса*”, понимай – программа физического уничтожения лучшей части земледельцев страны в плане дисциплины, инициативы и работоспособности, её *элиты*, на которую в своё время сделал ставку Столыпин... Но настали иные времена – и самостоятельный крепкий инициативный мужик, увы, оказался стране не нужен...

Итак, арестовали родственников Стеблова в 1930 году, отправили по этапу. Что произошло потом с прадедом, его женой и сыном на чужбине? доехали ли они туда? а если доехали, то как там, бедные, жили без хлеба и тёплой одежды первые по приезду дни и долго ли вообще жили? – про то не знает и не узнает никто: писем оттуда не присылали. Одно известно наверняка: в деревню они уже не вернулись больше. Имущество их немалое, покоя всем не дававшее, было новой властью конфисковано в основном, продано и пропито, а что не захотели конфисковать – разграбили завистники-соседи. Многодетная, добропорядочная, трудолюбивая и жизнелюбивая семья, обезглавленная и обескровленная в одночасье, оказалась у разбитого корыта: ни дома тебе, ни скотины, ни одежки какой захудалой, ни орудий труда. От неё, от семьи, как от того козлёнка из песни, волка серого встретившего в лесу, остались лишь рожки да ножки.

И пришлось им, несчастным сиротам, стиснув покрепче зубы, тоску и жалость в душе до поры до времени приглушив, на соседей и государство обиду, понадежнее всё это спрятав в себе, в своём исстрадавшемся и израненном с малолетства сердце, что от обиды и ярости на части у каждого из них рвалось, – пришлось им, короче, бедненьким, опять всё начинать с нуля, как до этого начинали не раз и не два их великие и славные предки, пришлось делом, а не словами, не трепотнёй доказывать свою природную и духовную силу, законное право на жизнь, на существование, на тоже счастье. Семье ещё повезло, что оставшиеся без родителей и крова дети, в количестве шести человек, грудными плаксами и инвалидами не были и могли уже сами себя прокормить – старшие, во всяком случае. Это обстоятельство здорово помогло им выжить в то тяжкое и кровавое время, с голоду не умереть. Или в тот же детдом прямиком не направиться, что от тюрьмы отличался мало, от колонии для несовершеннолетних... А ещё им всем шестерым помогли тогда выжить и не сломаться *вера русская, православная*, и привитая с детства взаимовыручка, здоровая наследственность, гены родительские, родительское же строгое воспитание. Но более всего, конечно же, помогла им тогда морально выстоять и укрепиться *целительница-любовь*, без которой жизни и не бывает по сути. Именно она, голубка небесная, скоропомощная, ни на шаг от осиротевшей семьи не отступавшая, давала силы беспризорным детям всё сдюжить, превозмочь, пережить, быстро встать на ноги после разрухи, новые, уже собственные корни пустить; именно она в конечном итоге укрупняла семью, увеличивала её численно...

Отец Антонины Николаевны, дед Вадика, был вторым ребёнком в семье, после сосланного на Север брата – первым. Быстро женившись после тех трагических событий, он уже к началу сороковых годов имел пятерых собственных ребятишек и приличный дом в соседней деревне – родной деревне жены. И в колхоз он тогда вступил, и братьев и младших сестёр в дело пристроил: женил и замуж выдавал, а последнюю, маленькую, сестрёнку при себе оставил.

И показалось ему тогда, в минуты короткого отдыха легкомысленно стало казаться, что всё самое страшное у них – позади, и теперь нужно только побыстрее и покрепче забыть горечь прошедших лет, вычеркнуть их из памяти. Ушли они – те чёрные и лихие года, – ушли навсегда, насовсем, как в воду мутную канули, унеся с собою и прежнюю тоску-печаль, и страш-

ную на всех обиду... Так зачем ворошить прошлое, спрашивается? раны сердечные беречь? изводить себя злобой бессильной, тоской, жадой мщения?! Родителей и старшего брата этим всё равно не вернёшь – так лучше уж о детях подумать и их будущем, на них все силы и думы пустить, пламень и жар душевный. Вон у него их сколько по лавкам лежат, и какие все хорошенькие и умненькие!

И хотелось растроганному, в одеяло плачущему отцу в такие душещипательные минуты, когда воспоминания о недавнем трагическом прошлом волной холодной вдруг ночью или под утро окатывали его, – всей широкой русской душой мечталось уберечь детишек своих от каких-либо в будущем передрыг – от бедности, голода и унижений. Чтоб не пришлось им, родненьким, испытать и пережить того, что сам он испытал и пережил недавно; чтобы не остались дети, не приведи Господь, бездомными и беззащитными сиротами.

«Все силы свои приложу, все жилы из себя вытяну! слово даю! – как заклинание самое верное и самое страшное одновременно твердил он по ночам ошалело, давая себе зарок не вспоминать и всё равно вспоминая несчастных, уничтоженных новой властью родителей, сгинувших неизвестно где. – Но детишек своих, всех до единого, в люди выведу. Чего бы мне это ни стоило!... Назло всем недоброжелателям и врагам! и всем им, сукам поганым, на мор и погибель!... Пусть хоть дети мои, и теперь, и когда подрастут, в сытости и радости поживут: и за деда с бабкою и за дядю... да и за меня самого, горемычного сиротинушку... Я ведь, по чести сказать, тоже ещё и не жил-то как следует: всё моё детство и молодость загубили проклятые большевики, как черви навозные, как кровососы-клопы судьбу мою испоганили... А детишки, даст Бог, поживут: жизнь-то вроде бы налаживается и успокаивается...»

Так думал дед Вадика, так мечтал, так клялся и настраивал себя в ночи бессонной, кровешной! Но его мечтам и думам праведным сбыться было не суждено, и вины в том деда не было никакой: не повинен он был в нарушении собственной клятвы. Просто на страну, его многострадальную и несчастную Родину, навалилась очередная беда: началась Великая Отечественная война – самая страшная и кровавая за всю мировую историю!

Поначалу дед даже обрадовался приходу Гитлера. Мелькнула в голове злорадная мысль: «может и впрямь разгонит Адольф Алоизыч всю эту крикливую и безбожную рвань, засевшую в Кремле с Семнадцатого года, придёт и повесит их, чертей поганых, на Красной площади за ноги, за родителей и брата отомстит... а заодно и прежнюю жизнь вернёт, привольную и сытую... У себя-то в Германии, как говорят, он лихо и достаточно быстро со всей этой интернациональной шушерой разобрался: поприжали они там, растлители-паразиты, хвосты, в Америку и Палестину дали дёру. Немцы теперь как в Раю живут, как у Христа за пазухой... Вот бы и у нас так...»

И на войну дед идти не хотел: в подполье думал как-нибудь отсидеться, лучших времён подождать – тихих, послевоенных. Были в их деревне такие ловкачи-удальцы, кто именно так и сделал... Но бесноватый фюрер со своими чопорными и кровожадными Фрицами и Ганцами уже с первых дней оккупации стал сильно палку перегибать – жечь без разбору и жалости белорусские и украинские сёла, мирных жителей без счёта стрелять и вешать, баб, стариков и детей. И этакой лютостью собственной и коварством даже и сатанистов-большевиков затмил, показал себя, так сказать, во всём европейском блеске.

Такого Адольфу Гитлеру дед Николай простить ну никак не мог: стал скорёхонько собирать в походный старый рюкзак вещи.

«А то так они и до моих детей и жены доберутся, и их сожгут и повесят, пока я буду в подвале да по лесам бегать-прятаться», – резонно подумал он и ушёл в июле-месяце на фронт по повестке. А уже в сентябре семья получила трагическое известие, что погиб он, святой русский воин, чистая душа, смертью храбрых в неравном бою с вооружёнными до зубов фашистами, до последнего патрона и вздоха защищая свою семью и милую свою Родину...

Осиротела деревня, осиротел дом. Пусто и бесприютно сделалось в семье погибшего кормильца-фронтовика, одиноко, тоскливо, страшно. Едва-едва хватало тогда сил жене и детям его, чтобы не умереть с тоски, чтобы продолжить жить и держаться дальше...

А через три, без малого, месяца обрушился на семью новый удар, не менее первого страшный: в конце ноября 1941-го года в деревню вошли немцы из армии Гудариана, рвавшиеся на танках к Москве. Стояли они недолго, одну неделю всего, но и за неделю память по себе оставили крепкую, знатную. Ели и пили всласть отобранные у народа харчи, имущество грабили, девок и баб насиловали. А когда уходили, когда драпали со всех ног от перешедшей 5 декабря в наступление Красной армии, деревню русскую, их приютившую, подожгли. И сделали это подлое дело ночью, когда все жители деревни спали и не думали ни о чём, ни к чему подобному не готовились. Именно так “цивилизованная” и “просвещённая” Европа во время очередного “крестового” на Восток похода учила “варварскую” Россию жить, показывая доверчивым русским людям свой абсолютно звериный и гнусный лик, и такую же подлую, пакостную натуру. Долго потом помнила обугленная и ограбленная Матушка-Русь те европейские “нравственные” уроки, долго после них восстанавливалась, выздоравливала и очищалась, душу лечила свою.

А тогда, в декабре 41-го, ошалевшие спросонья люди выскакивали на улицу в чём мать родила из пылавших гигантскими кострами изб, бревенчатых по преимуществу, сухой соломою крытых, слыша вдогонку радостный смех поджигателей-изуверов да душу раздирающий рёв заживо сгоравшей скотины в хлевах. На дворе же, подчеркнём это жирно, несколько раз подчеркнём, *был декабрь, особенно в тот год холодный и лютый*. Трескучие, затяжные морозы сковали землю, жизнь на ней приостановив, и не было в деревне на тот момент *ни одного* здорового мужика (по подвалам прятавшиеся не в счёт) – только ошалелые бабы, старики-инвалиды да дети. Как хочешь было всем после этого, так и живи, так и выкручивайся: никто им, погорельцам и голодранцам, помощь оказывать не собирался. Страна жила обороной Москвы до лета 42-го; потом – Сталинградом, Ленинградом и Курском; освобождением Белоруссии и Украины, Польши и Югославии, Румынии с Венгрией и Чехословакией, Австрии, Германии самой. Туда уходили средства и все основные силы, туда направлялся свободный людской и материальный ресурс. До собственных бед и нужд – *по законам русского великодушия* – руки и деньги, как правило, не доходили.

Семья матери Вадика, только-только оправившаяся от ужаса *коллективизации*, чудом на ноги вставшая после неё, вздохнувшая глубоко и свободно, во второй раз за какие-то одиннадцать лет была обезглавлена и обескровлена, пущена по миру фактически. Положение её, плюс к этому, многократно усугублялось громыхавшей страшной войной и тем ещё, что оставшиеся без отца и без крова дети, пятеро человек всего, были совсем-совсем маленькими...

12

Итак, 1941 год ознаменовался началом страшной войны и, как следствие этого, – скорой гибелью на фронте деда Стеблова Вадика по материнской линии (по отцовской, к слову сказать, тоже).

Застонала тогда опять Россия, заохала, завертелась в смертельных муках и четыре страшных года подряд исправно платила миру кровавую обильную дань, от головорезов отъявленных отбивалась. И не зря у нас, русских, слово “война” происходит от слова “вой”: всеобщим воем, разором и бедствием большинство наших войн, как правило, и сопровождается...

Но как бы тяжело и горько народу ни было, холодно, голодно и тоскливо, первого сентября 1941-го года мать Вадика, семилетняя тогда девчонка, пошла учиться в школу, в первый свой класс, к чему она старательно весь август готовилась, чего как праздника для себя ждала самого светлого и желанного. Война – войною, смерть – смертью, сиротство – сиротством, – но жизнь-то на этом, к счастью, не заканчивалась. И нужно было поспевать за ней, тем более – детям.

Антонина Николаевна была в семье своей третьим по счёту ребёнком. У неё был старший на три года брат, была сестра, на два года старшая, и были ещё два братика-близнеца, которым в 41-ом году было всего-то по четыре годика. Оставшаяся одна в войну и овдовевшая сразу же тридцатилетняя матушка Антонины Николаевны, бабушка Вадика, Анна Васильевна, чтобы хоть как-то прокормить семью, вынуждена была дневать и ночевать на колхозной ферме – зарабатывать лишние трудодни. Не отставал от неё в этом деле и старший сын Виктор, в школе последний год почти не учившийся, так и не закончивший её, в итоге. За главную в доме, которым после декабрьского, учинённого гитлеровцами пожара стал погорельцам наскоро сооружённый сарай, оставалась старшая дочь, Зинаида, на долю которой выпало держать на худеньких плечиках и хозяйство скромное, горемычное, и оставшихся без присмотра детей: сестру и двух маленьких братьев... И была она им троим всю войну, а так же и долгие послевоенные годы и за кормилицу, и за няню, и за воспитательницу; а сестрёнке своей, Тонечке, ещё и за подругу и за учительницу.

Когда старшая сестра пошла в первый класс, младшей было пять лет от роду. Но она уже и тогда бойко и уверенно разговаривала и девочкой была на удивление любознательной и смыслёной, которую как магнитом притягивала к себе любая печатная продукция: будь то настенные численники-календари, неперенные атрибуты любой деревенской избы, газеты старые и потрёпанные, агитационные листовки и плакаты. А уж когда в семье появилась азбука с картинками, принесённая из школы старшей сестрой, младшую будто околдовал кто: бывало, пристроится вечером возле Зины, читавшей заветную книжицу, и не отходит от неё ни на шаг: сидит, запоминает всё, всё усваивает.

Азбуку скоро дополнили другие учебники: со стихами, числами, арифметическими задачами, – а младшей всё нипочём, всё ей интересно было. И чем сложнее становились книги – тем теснее прижималась она к сестре, и тем ярче разгорались её глаза искрящиеся.

Дальше – больше, как говорится. Мать двух сестёр начала замечать, по вечерам с любопытством за детьми наблюдая, что младшая дочь по объёму и качеству усвояемого материала заметно опережает старшую по всем, без исключения, предметам, преподававшимся в школе той, и даже старшей сестре помогает.

«Надо же! – дивилась она. – Тоню-то мою вместо Зинки в школу посылать можно: оно даже надёжнее будет».

Это было сущей правдой по сути, и младшая из двух сестёр загорелась школой всерьёз, тогда как старшая к образованию осталась совсем равнодушна. Да и некогда ей было учиться,

если по совести-то сказать, выказывать к наукам страсть: уж слишком большие тяготы обрушились на неё в войну, слишком много времени и сил отбирали они у девятилетней Зины... Зато, безропотно взвалив все эти тяготы на себя, она полностью оградила сестру от военного лиха и, оставшись неграмотная сама, дала той возможность учиться...

А младшая, между тем, всходила и развивалась как на дрожжах, как на таблетках волшебных умнела и хорошела. И за два предвоенных года совместных с сестрой занятий, самостоятельно пользуясь учебниками её, она легко и с удовольствием освоила весь тот начальный объём знаний, что предлагался в школе у них первачкам. Поэтому в первый свой класс в сентябре она пришла уже как бы девочкой-переростком, которой скучно было сидеть и заниматься вместе со всеми, буквы и цифры разучивать и запоминать.

Что ей были букварь с кириллицей и таблица умножения, когда она уже знала наизусть многое из Пушкина, Некрасова и Крылова, бегло читала, решала за перегруженную домашней работой сестру, ученицу третьего класса, все, без исключения, задачи по арифметике. Разрешил ей тогда учительница, она бы, кажется, и экзамены сдала выпускные за полные четыре года – и не хуже других сдала; и пошла бы потом, не останавливаясь, дальше: развивать природную к наукам страсть, удовлетворять врождённое ко всему любопытство.

Беда заключалась в том только, что никто в 1941-м году об этом всерьёз не думал, не помышлял. И, в первую очередь, совсем не думала о судьбе одарённой дочери её родная мать, Анна Васильевна, осуждать которую за такое полное равнодушие язык не повернётся. Война и раннее вдовство с пятью несовершеннолетними, вечно голодными детьми на руках, отсутствие дома собственного, молока и хлеба придавили её к земле накрепко – так придавили, что распрямила несчастную, позволила ей отдохнуть и вздохнуть свободно только старуха-Смерть, прибравшая бабушку Вадика к своим костяным рукам в сорокалетнем возрасте...

Но мир, как известно, не без добрых людей: чем дольше живёт человек на свете, тем твёрже в сей очевидной истине убеждается. Талантливой первоклассницей, вместо матери, тогда живо заинтересовалась единственная в деревне учительница – невзрачная одинокая женщина неопределённого возраста, женщина-инвалид, слепая на один глаз, но необычайно добрая, – и не просто заинтересовалась, а приняла в судьбе своей новой воспитанницы самое горячее, самое живое участие, заменив ей во многом убитую горем и непосильной работой мать. Если б не она и не её опека четырёхлетняя, непрерывная, жизнь беспомощной деревенской девочки, потерявшей на фронте отца, – и об этом можно совершенно определённо сказать – сложилась бы совсем по-другому. О чём красноречиво свидетельствуют послевоенная жизнь и судьба трех братьев её и сестры – людей неграмотных, беспомощных, беззащитных, забытых, до срока загнанных на ломовой работе и не знавших отдыха до самых последних дней.

Так вот, учительница влюбилась в юную Тоню с первого дня, сердцем к ней приросла-прикипела; и все четыре школьные года потом не отпускала от себя ни на шаг, держала подле себя как дочку родную.

Быстро поняв, что новой воспитаннице в школе делать нечего, учительница, чтобы не мучить её, разрешила девочке школы не посещать, экономить силёнки детские. Вместо уроков она предложила ей по вечерам приходить к ней домой, в крохотную хибарку на краю деревни, книжками сплошь заваленную, где накормив и напоив Тонечку крепким чаем и затем усадив поудобнее на табуретку, она не спеша рассказывала ей всё, что успела узнать и понять сама, что, как могла, хранила в памяти.

Случалось, когда они особенно увлекались и засиживались допоздна, что учительница оставляла девочку у себя на ночь. Тогда она уступала ей свою кровать, сама же ложилась рядышком на полу, и они, перед тем как заснуть, беседовали просто так, не чинясь, как две старинные подружки.

Иногда учительница, расчувствовавшись, рассказывала про свою прошлую жизнь, про которую в деревне более никому не рассказывала: как жила она когда-то в Москве в семье военного, училась в гимназии на Сретенке, мечтала поступить в Московский Университет; как, будучи пятнадцатилетней девчонкой, поехала отдыхать на дачу в Павшино, и в темноте, по неосторожности, напоролась однажды ночью на сук и осталась без левого глаза.

– А у меня тогда уже был жених, Коля: он жил с нами в одном доме, в соседнем подъезде, учился в Кадетском училище, – через силу, с болью не утихавшей, вспоминала она давнюю свою трагедию... и добавляла тихо, со слезою в единственном глазу. – Кривая я ему, конечно же, была уже не нужна, хотя он и не сразу меня бросил: с полгодика ещё погулял из вежливости, пока служить не уехал... Все мои планы и надежды после того случая с глазом прахом пошли, жизнь будто бы кончилась...

А ещё учительница, ностальгическим порывом захваченная, забывая совсем, кто подле неё лежит, рассказывала притихшей Тоне про Революцию и свергнутого Царя, на смену которому пришли свирепые большевики, про которых она вообще спокойно говорить не могла, даже и по истечению стольких лет панически их боялась... Заливаясь слезами, она рассказывала полуслёпотом, как комиссары в кожаных куртках три дня и три ночи обстреливали осенью 1917-го года из тяжёлых орудий святыню национальную, Кремль, повредили соборы, Куранты на Спасской башне. Потом загоревшийся Кремль штурмовали и грабили, не хуже поляков или французов тех же, расстреливали и прикладами добивали на месте кремлёвских бесстрашных защитников, молодых ребят-юнкеров. Потом, озверелые, они перешли на город: отняли и разграбили их квартиру, а их на улицу выкинули ни с чем, да ещё и мать у неё на глазах изнасиловали, полупьяные, над беззащитной женщиной покуражились-поиздевались всласть... И про Гражданскую войну она вспоминала, на которой убили отца, офицера-каппелевца, вспоминала про то, наконец, как они вдвоём с полу-помешанной после пережитого матерью скитались по разрушенной и обнищавшей России в поисках собственного угла, пока случайно не попали в эту деревню, в которой мать и скончалась вскорости.

– Так и осталась я здесь одна возле материнской могилы, – итожила учительница свою невесёлую биографию, вытирая ладонями в темноте мокрые от слёз щёки. – Вся моя радость с тех пор – школа. Что буду делать без неё, если вдруг уволят? если новую, здоровую, учительницу вместо меня возьмут?... С тоски, наверное, умру... или с голоду...

Четыре года длились индивидуальные занятия, закончившиеся с концом войны, четыре года мать Вадика, деревенская худенькая девчонка, проснувшись утром, нетерпеливо отсчитывала часы, ожидая очередной вечером встречи; а встретившись, не сводила с учительницы зачарованных глаз, влюбляясь и привыкая к ней всё больше и больше. Ни одна историческая дата не прошла мимо неё за это время, ни одна фамилия, ни одна формула не унеслась в никуда: всё как в добротных дедовских закромах когда-то копилось и сберегалось впрок, бережно складировалось в просторной детской головке...

Когда в декабре 41-го деревню гитлеровцы сожгли, оставшаяся без крова учительница поселилась временно в новой, наспех сколоченной школе-избе (старая сгорела вместе с деревней), и маленькая Тоня с тех пор заниматься по вечерам ходила уже туда. Удобств на новом месте заметно прибавилось, скуднее стали ужины, безвкуснее чай. Но всё остальное – духовное – не изменилось: теплота, задушевность, любовь окружали Тоню по-прежнему, по-прежнему учительница уступала ночью своё уютное место ей.

– Какая же у вас чудесная растёт девочка! – не уставала повторять она на протяжении четырёх лет, встречая где-нибудь на улице маму своей любимицы. – Какая воспитанная, милая, и какая умница! Давно я таких детей не встречала, очень давно!

Бабушка Вадика искренне смущалась всякий раз, слушая про дочурку такое, и ещё ниже пригибала к земле тяжёлую от непосильных трудов и забот, хронического недосыпания и недоедания голову, не зная, что и ответить на это, как среагировать, как поддержать разговор, условно для неё приятный. Она и вовсе растерялась и сникла, когда однажды весной (в 1945-м году это было, аккуратно после дня Победы) учительница сама, без приглашения, зашла к ним в обмазанный глиной сарай, поздоровалась, на табуретку присела.

– Ваша Тонечка школу заканчивает, – обратилась она к удивлённой хозяйке после краткого вступительного разговора про жизнь и здоровье, окончившуюся наконец войну, от которой все так устали. – Но ей нужно учиться дальше – обязательно! Ей мало четырёх классов.

– ...Как учиться? – не поняла хозяйка. – Где?

– В соседнем селе, – быстрый ответ последовал, давно уже заготовленный. – Там у них семилетка... И учителя там очень хорошие, грамотные: научат её всему; аттестат на руки выдают о семилетнем образовании: с ним она может потом в техникум поступить. С образованием-то ей легче жить будет: сами, поди, знаете... По этому поводу я и зашла к Вам, чтобы это всё обсудить, выработать план действия. Скажите, у Вас там есть какие-нибудь родственники, у кого можно было бы ей остановиться? пожить годок-другой? До села того – двенадцать вёрст всё-таки, и ходить туда каждый день и обратно ей тяжело будет: все силы на ходьбу уйдут. А это, как понимаете, плохо.

– Родственники? – машинально переспросила Анна Васильевна, у которой от разговора заболела вдруг голова и жаром вспыхнули щёки, – родственники есть, но... дальние... и – по мужу... А его, Царство ему Небесное, уже четыре года как нет в живых... Да даже если б и был: кому сейчас, в такое-то время, рот лишний нужен? Каждый о себе думает, себя норовит прокормить.

– Да ей бы у них только переночевать после занятий, – перебила её гостя. – А уж с пропитанием мы разберёмся: ничьей нахлебницей её не сделаем, не беспокойтесь. Я ей буду деньгами помогать, вы продуктами поможете. Вдвоём-то мы её вытянем, надеюсь, три года продержимся как-нибудь... Тем более, что и война вон уже закончилась, жизнь в стране скоро улучшится, даст Бог... Учиться Тонечке нужно обязательно – поверьте мне. Грешно такой талант в землю раньше времени зарывать, несчастной её на всю жизнь делать. Наш с Вами долг, – добавила учительница строго, – толчок ей, маленькой, дать. А уж потом она сама, я думаю, в люди выбьется... Ну так что, – вопросительно взглянула она на хозяйку, – съездите к родственникам своим? переговорите? Ведь не просто же так Тонечка к ним приедет: учиться будет, делом святым заниматься...

Анна Васильевна смотрела на вошедшую – и не видела её: так ей тогда вдруг плохо стало. К собственным её ежедневным и с трудом переносимым заботам добавилась вдруг и ещё одна – да какая! Ей предлагают одиннадцатилетнюю совсем ещё глупую дочь отдать на сторону, из дома выгнать, фактически, и пристроить к людям чужим на три года, к чужой семье, лезть к этим людям в глаза в такое-то время, когда сами они, небось, хлеба чёрного до сыта не едаются, когда опухли от голода все, очистки картофельные и ботву едят и тихо радуются при этом... А она к ним в нахлебники будет проситься, в сожители, – она, которую они и видели-то всего два раза, задолго до войны ещё, и уже наверняка забыли.

У бабушки Вадика даже ноги тогда подкосились от слабости, от недостаточности сердечной; от перенапряжения загудела и кругом пошла голова, и её начало поташнивать.

«И хорошее вроде бы дело предлагает: семилетку закончить, – соображала она тогда второпях, – нужное... Но как это всё практически осуществить мне одной – без мужика, без помощи и копейки лишней, – об этом она подумала? Советы-то давать легко, легко со стороны быть добренькой да умненькой, когда у тебя на шее никто не сидит, еды каждый день не просит. А попробовала бы она с пятерыми крохами четвёртый год, как я, – посмотрели бы тогда, как про образование-то заговорила; про то, что грешно, а что не грешно; что полезно, а что не

полезно... Деньгами тебе помогу, говорит! Наговорить-то и наобещать многое можно... Если б хоть дома учиться, чтоб дочка дома жила, с нами вместе питалась, тогда – другое дело, тогда я согласная: разве ж я своей Тонечке враг! Прожили б как-нибудь, помогли ей все, если так надо... Но в другом месте жить, у чужих людей, которых я и не знаю-то толком и с которыми ещё договориться надо, в ножки съездить поклоняться, что-то к столу купить... А на какие шиши?... Да и кто меня с фермы отпустит?...

Поездка предлагаемая и переговоры, ещё и не состоявшиеся даже, тогда более всего напрягли хозяйку, более всего напугали. От одной только мысли о них ей холодом стянуло нутро, и у неё затряслись мелкой дрожью руки. Никогда ранее она переговоров ни с кем не вела: покойник-муж к переговорам её не подпускал и близко...

Был и другой момент, что её озадачил подспудно, голову замутил, а именно – сама учёба. Обучать детишек наукам разным она и не думала, не собиралась совсем, – оттого что было это ей, вдове беспомощной, при всём желании не под силу. Прокормить бы их, пятерых, как-нибудь, от болезней, холода уберечь, от напастей разных, – вот о чём она тогда ежедневно и ежечасно думала, о чём болели её голова и душа. Какие уж тут науки, какое образование! Она и старших сына и дочь почти совсем не учила; и на Тоню подростку были у неё вполне определённые планы: к работе, к хозяйству домашнему побыстрее её приучить, переложить и на неё часть обязанностей, что выполняла по дому Зина.

«Учиться дальше... зачем? – истуканом стоя посреди избы, вытаращив глаза на гостью, мучилась бедная мать над предложением учительским. – Что семь классов, что четыре – какая в сущности разница! Участь наша давно решена: дальше конюхов да доярок видать уже и не прыгнем... Время лишнее только тратить да деньги, когда дома вон сколько дел, когда каждый человек на счету, каждая рука рабочая... Есть-то, когда за стол садимся, все хотят... и все могут. Так пусть приучаются и работать. У меня, видит Бог, кормить их пятерых здоровья уже не хватает. Чувствую, что долго не проживу, что кончатся моё время и силы... Так что пусть уж лучше детки мои побыстрее к труду приучаются. Сами себя научатся кормить – не умрут без меня с голодухи...»

«Чужим людям её отдавать – вот выдумала чего! – уже с раздражением лёгким подумала она под конец, сопя тяжело и тревожно. – Тут они у меня с Зинкой в одних галошах ходят по очереди весь год и одном платье – и ничего. Никто их тут не видит и не осуждает: тут у нас все ходят так. А там ей уже своё личное платье потребуется и свои туфли; и чулки отдельные, и трусики, и пальто, и тетрадки с книжками, – а где я ей это всё возьму?! из каких-таких доходов собираю?!...»

От напряжённых раздумий и предчувствий недобрых голова Анны Васильевны заболела и затрещала так, как прежде никогда ещё не трещала. Заболело за телогрейкой и сердце, свинцовым панцирем покрывая чахлую грудь. Не нравились ей совсем, вдовствующей солдатке, крайне тягостны были и сам разговор, и визит внезапный, непрошенный... Но более всего была тягостна необходимость думать о чём-то лишнем, что-то важное быстро решать. Как будто ей и без того думать и решать было нечего.

–...Да нет уж, – наконец выговорила она, с духом тогда собираясь, при этом взглянув виновато на сидевшую перед ней учительницу, нетерпение уже выказывавшую и недоумение. – Спасибо Вам, конечно, за всё: за заботу Вашу и слова хорошие; за то, наконец, что учите детишек моих, – но... пусть уж Тоня лучше дома сидит, делами домашними занимается. Нечего ей в одиннадцать лет начинать по чужим домам мотаться: нехорошо это, неправильно...

Однако мама Вадика всё же уехала осенью 1945-го учиться в соседнее село, в расположенную там школу-семилетку: её учительница, всё своё красноречие подключив, смогла тогда уговорить его бабушку не упорствовать – отпустить дочурку, дать той возможность развиваться умственно, образование получить, пообещав, что поможет всемерно и все организационные и

финансовые вопросы возьмёт на себя; что даже и пристроит Тонечку на жительство к одной своей давней знакомой. Обещания она исполнила в точности – договорилась, пристроила, помогла. Дала, таким образом, возможность даровитой любимице продолжить учёбу и только потому не пропасть, не опуститься в будущем в родной деревне до полу-скотского уровня, не потонуть там вместе со всеми родственниками и соседями в невежестве, пьянстве диком; в колхозной кабале, нищете. Это было делом обыденным и привычным для их воистину дремучих мест, к которому все привыкли давно и поменять которое в сторону улучшения даже и не пытались.

Хлопотала она не напрасно, надо сказать, и “семена”, ею летом 1945 года “посеянные”, попали на благодатную почву: девочка отблагодарила всех блестящей учёбой на протяжении последующих трёх лет и отличными отметками в аттестате зрелости. А ещё её, как лучшую ученицу школы, колхоз направил сразу же в областной сельскохозяйственный техникум – учиться там на агронома, на которых в стране после войны была большая нужда.

Три студенческих года пролетели для Тони как один день, как миг счастливый, короткий: лекции на удивление быстро сменялись семинарами, зачёты – экзаменами, лабораторные занятия – ежегодной полевой практикой. Необходимо было много трудиться, многое понимать и запоминать – чтобы оправдать, в итоге, и оказанное ей доверие, и потраченные на неё родным колхозом деньги... А ещё в техникуме была огромная библиотека с книгами, которые хотелось все прочитать, в городе был театр драматический, музеи, кинотеатры, цирк, куда тоже сходить хотелось; был центральный универсальный магазин наконец, ЦУМ местный, с платьями модными и жакетами, шикарными туфельками на шпильках, в которых щеголяли даже и самые знаменитые модницы и артистки в Москве и которые безумно хотелось если и не купить, то хотя бы зайти и примерить. Девочке из глухой провинциальной деревни их старинный областной центр с автобусами, троллейбусами и трамваями, многочисленными историческими памятниками, соборами православными и Кремлём – настоящим, зубчатым, краснокаменным, на Кремль московский очень похожим, – казался сказочным городом неопишуемой красоты, этаким Градом Китежем, приводившим её в постоянный восторг, никакими словами не передаваемый. Ей буквально всё там хотелось узнать, увидеть, услышать, запомнить, всё увезти с собой – в своей благодарной памяти, – чтобы потом, на досуге, рассказывать и рассказывать об увиденной красоте подружкам, родственникам, соседям... Ну и, конечно же, детишкам своим, что ожидалась в будущем.

Ни одного дня не просидела она просто так, ни одного часа даже: все куда-то вечно рвалась, вечно спешила. У неё частенько за те три года от переутомления и недосыпания болела и кружилась голова и по ночам кровь тоненькой струйкой бежала из носа, частенько её поташнивало с голодухи... Но пыла это не убавляло, не гасило святого огня в груди, и областной сельхозтехникум, который мама Вадика закончила с красным дипломом, не стал бы последней ступенькой в её образовательной судьбе... если б не раннее замужество её и последовавшие за этим роды.

Два сына, появившиеся у неё на свет с промежутком в два года, а потом ещё и дочь заставили Антонину Николаевну забыть о себе и переключиться полностью на семью: своих ребятишек и мужа. Но жажды знаний, образования и культуры семья в ней не убила ничуть, даже и не притупила. Просто эту жажду со временем она надеялась удовлетворять уже через детишек собственных, через первенца Вадика, в первую очередь, которому она отводила в этом наиважнейшем процессе решающую в семье роль, образцово, так сказать, показательную...

13

Но Вадик в школе надежд материнских не оправдал, учёбой не загорелся и не увлёкся. И если шесть классов первые, которые он закончил, только разочаровывали мать, грустить и тяжело вздыхать заставляли, – то наступивший седьмой класс со злополучной вечерней сменой стал для неё трагедией с первого дня, которую она с трудом перенесла, которой не могла ни с кем поделиться. Каждое очередное собрание той поры, каждое посещение школьное превращались для неё, тихой и кроткой женщины, в унижение и пытку одновременно, которые старили и убивали Антонину Николаевну на корню, низко к земле пригибали, делая этим в точности на покойницу-мать похожей, что согбенною проходила последние несколько лет, вокруг себя никого не видя, не слыша.

Она-то, святая душа, надеялась, была уверена даже, что её старший сын, её Вадик, смыслённый и памятный от природы, в школе будет круглым отличником, передовиком, образчиком знаний и прилежания; и с лёгкостью сумеет взобраться на самые крутые, самые головокружительные образовательные вершины, которые ей самой оказались, увы, недоступны... А он сможет их покорить – потому что умный и страшно талантливый: она чувствовала это. Поэтому он непременно выучит и поймёт всё то, что она когда-то в силу разных причин не смогла или не успела выучить и понять, пытливо дознается до тех вещей премудрых, до которых она, замужняя женщина, мать троих детей, в молодости не дозналась. Он это должен сделать, просто обязан её, сироту полунищую, превзойти во всём – стать лучше, образованнее и умнее. Он ведь частичка её, маленькая её кровиночка, вышедший в мир из неё с истошными криками родовыми, непрерывными многочасовыми муками. И значит не может жить по-другому, науку с книгами не любить, к знаниям не тянуться супротив веления крови.

Поэтому даже первые школьные неудачи сына не очень-то её и расстраивали, если начистоту, хотя и были ей неприятными как те же мухи. Она всё надеялась и хотела верить, что это – временное явление, как та же ветрянка или корь, и непременно пройдёт с Божией помощью, не оставив следа на теле. После чего её сын, от природы непоседливый и озорной, перебесившись в детстве, остановится, наконец, дурь из головы выкинет и в лучшую сторону переменится; образумится и остепенится классу к седьмому-восьмому и по её стопам непременно пойдёт. Она терпеливо ждала этого с первого школьного дня, верила в благополучный исход всей душой своей, всем сердцем. И, одновременно, всеми способами и силами готовила старшему сыну для этого внутреннего просветления и преображения почву, беседы с ним познавательные регулярно по вечерам проводя, книжки хорошие читать заставляя, телевизионные смотреть фильмы.

А он, негодник, и раньше учившийся кое-как, через пень-колоду что называется, в седьмом классе уже сознательно и серьёзно плюнул на школу, спиной к образованию повернулся, троечником круглым стал. Одни лыжи были у него на уме, соревнования, тренировки, победы спортивные.

В прежние годы, посещая родительские собрания, Антонина Николаевна видела в глазах обучавших Вадика педагогов огоньки участия и надежды, слышала слова приветливые, обнадеживающие: что-де способный ваш мальчик, не старается только; но если захочет, дескать, если за ум возьмётся, то всё у него хорошо будет, не волнуйтесь, мол, ждите. Теперь же всё поменялось коренным образом, и на каждом собрании она уже чувствовала по отношению к себе одно лишь холодное равнодушие, граничившее с безразличием, с презрением даже, до глубины души оскорблявшие и унижавшие её, не оставлявшие ей, несчастной, уже никаких надежд и шансов на будущее.

Учителя, такие милые и обходительные ещё даже и год назад, уже отмахивались от неё как от постылой пьющей соседки, и на все расспросы настойчивые, заинтересованные, отве-

чали коротко, холодно, зло: «Не хочет, не учится, не делает ничего. Нам поначалу казалось... а теперь видим, что нет, что ошиблись в нём, и ничегошеньки из него, ленивца негодного и непутёвого, не получится... Так что не мучайтесь, мол, понапрасну, мамаша, – уже на ходу сквозь зубы бросали они ей, за ними тенью плетущейся, – не терзайте себя и нас еженедельными надоедливymi посещениями – и ничего хорошего от мальчика своего по нашей части не ждите. Олух, мол, он у вас, каких свет не видел, лоботряс ужасный и круглый без палочки ноль. Уж извините за откровенность...»

Сей приговор суровый, выносимый педагогами сыну, а вместе с ним, естественно, и ей самой, резал Антонину Николаевну без ножа, лишал всякого желания жить, есть спокойно и спать, любить, воспитывать и работать. Порою было такое чувство даже, после особенно нервных и горьких в школе бесед, будто бы ей – прилюдно! – отвесили там пощёчину или наплевали в лицо как преступнице, или ненавистному всем врагу, с которым людям противно и тошно общаться.

Ноги её подкашивались, сердце сжималось и останавливалось от тоски, по телу пробегал холодный озноб, по спине пот катился. Шатаясь, она покидала школу с низко опущенной головой, полные слёз глаза ото всех пряча, с трудом добиралась до дома, порог переступала с трудом; а зайдя в дом, без сил опускалась на кухне на первый попавшийся стул и тут же начинала плакать, голову обхватив руками и никого не замечая вокруг, при этом тихо, как и покойница-мать, подвывая. Горькие обильные слёзы, не останавливаясь, долго текли по её впалым бледным щекам, оставляли тёмные, влажные пятна на кофточке. Домашние в такие минуты к ней даже и не подходили – знали все хорошо, что утешать её бесполезно...

Материнские слёзы те, остро на всю жизнь запомненные, больно ранили сердце Вадика, когда он видел их, когда находился дома. Тогда он, выждав момент, когда мать наконец выплачется и успокоится, подходил к ней робко, на цыпочках, тихо становился рядом, сопя, осторожно прижимался к худенькому её плечу.

– Ну что ты, мам? – начинал он нежно гладить матушку по голове, по волосам прямым, уже заметно седеющим, чувствуя себя причастным к горю её, к её тогдашнему мрачному состоянию. – Не надо, не плачь. Успокойся.

Мать поднимала красные, слезами залитые глаза, в упор тяжело смотрела на сына... И столько было тоски в её взгляде и боли – настоящей, почти смертельной, как будто действительно умер кто, – что сын не выдерживал, отворачивался.

– ...Почему ты совсем перестал учиться, а? – тихо, через силу великую спрашивала Антонина Николаевна, едва выговаривая слова. – Мне уже стыдно стало заходить в школу вашу, стыдно встречаться и разговаривать с людьми, учителями твоими. Они как на дуру смотрят все на меня, как на прокажённую... Я не могу так больше, у меня уже нету сил... Что ты со мной делаешь, Вадик? что творишь? Я ведь в старуху древнюю превратилась из-за тебя, мне уже жить не хочется...

После таких нелюбимых слов слёзы ещё обильнее текли у неё из глаз, ещё черней и мрачней, некрасивей её лицо становилось. Усиливались и завывания...

Вадик хмурился и молчал, не смотрел на мать, не прижимался уже к плечу материнскому. Ему нечего было сказать в своё оправдание: он давно уже всё для себя решил. И дальнейшие разговоры и разбирательства уже ничего бы не изменили.

– ...Я запрещаю тебе ходить в твою дурацкую секцию, – произнесла Антонина Николаевна через минуту, от души наплакавшись и навывшись. – Я это сделаю, Вадик, слово тебе даю! если ты не можешь делать два дела одновременно; я пожалею, наконец, отцу!

– Жалуйся, – тихо, но твёрдо отвечал матери сын, лицо которого из болезненно-сострадательного вдруг делалось волевым и не по-детски суровым. – А в секцию я всё равно ходить буду. И ничего вы мне с отцом не сделаете.

– А в школу? – болезненно морщась, спросила мать, поражённая таким настроением, напуганная даже им, – в школу ты ходить будешь? Учиться ты собираешься?...

В разговоре опять наступала пауза – долгая, тягостная для обоих.

– ...Ладно, ступай, ну тебя к лешему, потом поговорим, – вконец обессиленная и издёрганная, мать поднималась со стула, легонько сына от себя отталкивая, всё ещё стоявшего подле неё. – Не хочу тебя, паршивца, больше видеть.

И оба расходились после этого по своим делам, крайне недовольные друг другом...

«Чего они все от меня хотят? – с раздражением думал Вадик, расстроенным уходящий от матери, – чего ко мне привязались? И в школе нудят каждый день, и дома: надоело слушать!»

Ему было и жалко маму конечно же, безусловно жалко – и зло брало на неё и школьных преподавателей, доводивших её до такого ужасного состояния. И его можно было понять – носителя собственной правды. Полтора года уже он рвался из сил, не щадил, не берёг себя ни на тренировках, ни на соревнованиях; даже и на доске почёта уже висел – единственный из семиклассников! – в секции до взрослого разряда дошёл, тренеры в нём души не чаяли, «золотые горы» сулили, – а им всё плохо, всё было не по сердцу: одни только выговоры слышались ежедневные да попреки, да обвинения незаслуженные в разгильдяйстве и нерадении. И не просматривалось этим попрекам конца – вот что было досадно! И чем интенсивнее он намеревался в будущем тренироваться и соревноваться, тем этих попреков и слёз, по всему видать, стоит ожидать ещё больше. Ещё хуже станут относиться к нему и в школе четвёртой, и дома. Родители всю плешь ему проедят на пару с учителями.

«Только и слышно в последнее время: ничего не делаешь, не стараешься, баклуши бьёшь! Как будто спорт – это отдых какой; или – развлечение... Пусть кто-нибудь из них попробует пробежать хотя бы километров пять на время, – уединившись, злился он на учителей. – Посмотрим, что с ними тогда после такого “развлечения” станет...»

Подобное отношение к себе и своему тогдашнему увлечению было очень обидным и досадным ему! Тем более обидным, что виды на спорт он имел в тот момент самые что ни на есть серьёзные и в мыслях уносился уже далеко-далеко, к олимпийским победным вершинам “звёздным”. Он не пропускал ни одной телетрансляции или передачи, что лыжных соревнований касались, лыжного спорта: олимпиады, спартакиады, чемпионаты, беседы на соответствующие темы или телеинтервью – всё смотрел. Первые бегуны страны, имена и фамилии, достижения которых он знал уже назубок, сделались идолами для него, властителями дум мальчишеских, его безоговорочными и самыми главными обожателями и подражателями. Не было тогда для него на целом свете людей красивее, мужественнее, значимее и сильнее их. Он пожил заслуженных мастеров-чемпионов глазами, безмерно восхищался ими, учился у каждого – побеждать, терпеть, выносить трудности и неудачи.

Смешно сказать, но он как обезьянка маленькая перенимал у знаменитых бегунов-лыжников всё, начиная от техники бега и кончая бытовыми привычками и разговорами. Их спортивные подвиги и рекорды, и слава громкая, мировая, неизменно его поражали и вдохновляли, лучше ремня подстёгивали, дразня самолюбие детское пуще всяких похвал, путеводной звездой становясь, главным жизненным ориентиром. Он, 13-летний одержимый бегом ребёнок, на полном серьёзе готовился в недалёком будущем не хуже их засверкать на звёздном небосклоне мирового лыжного спорта, готовился записать и свою фамилию в пантеон русской спортивной славы. Именно и только так!... А в это же самое время родители и учителя переходили ему дорогу, вязали по рукам и ногам своим пренебрежением и непониманием полным, считая его увлечение, его нешуточную к беговым лыжам страсть чем-то совершенно пустым, несерьёзным и даже очень и очень для школы и будущей жизни вредным. Тем же почти, как если бы он пить и курить вдруг начал, или же срамную бабу себе завёл и на ней захотел жениться.

– Ты учись зарабатывать на жизнь руками или головой, а не ногами длинными, не беготнёй дурацкой, – частенько увещевал его по вечерам подвыпивший отец. – Из нашего захолустья, поверь мне, сынок, далеко ещё никто не убежал. Да и не убежит, наверное... Уж сколько на моей памяти было всех этих бегунов отчаянных да прыгунов, футболистов “великих” да хоккеистов, – подумав, добавлял он с ухмылкой. – А где они все, в итоге?... В заднице! Точно тебе говорю. Или спились давно, или болтаются вон без дела по городу: в разнорабочих числятся да в холуях, над которыми все потешаются... А всё потому, что не учились по молодости, нормальной специальности, образования не получили. Вот и итог. Оттого и болтаются теперь как дерьмо в прорубе. И до смерти болтаться будут.

– А я убегу, разнорабочим и дерьмом не стану, не надейся. И потешаться над собой никому не дам, – улыбаясь, с вызовом отвечал отцу Вадик и уже на другое утро, чуть свет, уходил на очередную свою тренировку и тренировался в тот день особенно долго и ярко...

14

«Его словно бы одурманил кто, дурачка, околдовал, – думала, в свою очередь, про старшего сына мать длинными, бессонными ночами, не зная, как успокоить и чем охладить трещащую от напряжения голову. – Ничего его уже не интересует, кроме спорта, кроме этих лыж проклятых, ничего... Раньше, помнится, и программные книги читал, и художественные, рассказывал мне содержание; в районную библиотеку иногда ходил, в школьной был записан: какой-то хоть интерес имел, пусть маленький – но, тем не менее... А теперь книги в руки брать перестал, будто его от них отвалили... На тренировки только бегают почти каждый день да телевизор смотрит – всё про тот же спорт: про бег, соревнования, лыжи. Чокнулся уже на них, помешался, ей-богу... Превращается день ото дня в какого-то непутёвого дурачка, двоечника натурального, форменного, а ведь выпускные экзамены скоро, взрослая жизнь на носу. А он её оболтусом хочет встретить, неучем, пустышкой прожить, с лыжами и палками под мышкой. Куда такое годится! Разве ж правильно это?! разве ж к добру приведёт?! Да нет, конечно же! – и к бабке ходить не надо!... Но говорить и внушать бесполезно: он ничего слушать не хочет, негодник, – хоть ты его убей, хоть кол на голове теши! Всё своё гнёт – баран упрямый!»

Чего только она ни делала в седьмом классе, каких мер за четыре месяца первого полугодья ни принимала: увещевала, грозила, требовала, – всё было без толку. Однажды они с мужем даже решились на отчаянный шаг: ночью, когда Вадик спал, взяли будильник с его тумбочки, заведённый на семь часов, унесли его в коридор и, закрыв будильник одеялом, дали ему отзвенеть.

«Утром не услышит звонка, проспит – и не пойдёт в секцию, – довольные, загадывали они после этого, укладываясь в постель. – День не сходит, два, вместо пустой беготни по лесу поспит подольше, понежится... Глядишь – и отвыкнет совсем, про лыжи и спорт забудет...»

Но Вадик не проспал, не пропустил занятие, не порадовал отца и мать. Очумело вскочив ранним утром с кровати с полчасовым опозданием и обругав ни в чём не повинный будильник, он быстро оделся в прихожей и голодным умчался на тренировку со всех ног, забыв дома варежки, – и родители бросили свою затею, устыдились оба её...

Видя полную неэффективность силовых методов, расстроенная матушка оставляла их и пробовала докричаться до сына с другой стороны – духовной. В душу пробовала к нему обратиться или хотя бы достучаться до неё как-нибудь; чем-нибудь особенным увлечь парнишку и образумить, заинтересовать, заинтриговать, зацепить. После чего переориентировать мысли и чувства его совсем на иные цели и ценности – не земные, не материальные, не спортивные, которые она и ценностями-то не считала, которые презирала до глубины души как тех же торгашей на рынке или развлекательные по телевизору передачи. Всё это было для неё ерундой – одного, так сказать, поля ягодками. Поэтому она и хотела, всячески стремилась отвалить его от них, ничтожных и по-детски пустяшных.

Раз за разом воскрешая в памяти первую свою учительницу и её увлекательные по вечерам беседы, которые хорошо помнились, трогали до глубины души и столько ей в жизни дали, она решила пойти по её пути, проторённой знакомой дорожке.

– Вадик, – ближе к Новому году, к концу второй четверти, начала приставать она почти каждый вечер к возвращавшемуся из школы первенцу, на кухне дожидаясь его, ужин подогревая, – знаешь, я тут недавно прочла одну очень интересную книгу: хочу её с тобой обсудить, поделиться прочитанным и узнать твоё мнение... Ты иди – переодевайся быстренько, умывайся, ужинай, – а потом мы с тобой поговорим. Хорошо? договорились?

Вадик в ответ согласно кивал головой, раздевался, ужинал не спеша, убирал еду со стола, подходил, умиротворённый, к матери.

– Садись, – говорила ему поджидавшая его с нетерпением Антонина Николаевна, одной рукой пододвигая сыну стул, а другой держа наготове какой-нибудь очередной томик из серии ЖЗЛ, который она перед этим брала в библиотеке и предварительно от корки до корки прочитывала. – Слушай.

И она своими словами принималась рассказывать содержание прочитанной книги, дополняя рассказ – точь-в-точь как это когда-то делала её учительница – выдержками из неё, понравившимися мыслями и цитатами. Про жизнь Ломоносова перво-наперво рассказала, главного кумира-обожателя своего. Потом – про Лобачевского с Менделеевым и их нелёгкие в целом судьбы, человеческий и научный подвиги, достижения и заслуги. Но главное, про то, как каждый из них, идя по жизни своим особым путём, делал, в итоге, огромной важности дело. Поднимал себя и своих современников, а вместе с ними – и все последующие поколения россиян на небывалую до того высоту – Духа в первую очередь, – показывая каждому смертному его возможности воистину-безграничные, богатейший научно-интеллектуальный потенциал и невероятную духовную мощь и силу.

– Им трудно было, мой дорогой сынуля, очень трудно, поверь! – с жаром говорила она, перед Вадиком с раскрытой книжкой стоя, – как бывает одиноко и трудно всем, кто идёт впереди паровозиком, пробивая дорогу другим; кто ввысь, а не вниз стремится, не прячется у товарищей за спиной, норовя в тишине отсидеться... Но они всё равно шли – “спотыкались”, “падали”, “лбы разбивали” в кровь, стонали может быть даже ночами бессонными от бессилия и насмешек. Случалось у каждого и такое, да, – минутные слабости, стоны и слёзы... Но потом-то они эти слабости стряхивали как паутину с век, стыдились их, что для нас крайне важно, собирались с духом и силами – и дальше шли. Они не давали себе передышки и послабления – категорически! – потому что дорожили временем и талантом, которого были заложниками...

– Больше тебе скажу, – через паузу продолжала мать, – и сомнения были у каждого, вероятно, когда силёнок совсем уже не хватало, и плюнуть порою хотелось на всё – хоть денёчек один, хоть половину денька пожить для себя, как другие живут: поспать подольше, покушать послаще, погулять, порадоваться и повеселиться. И ни о чём таком больше не думать, вселенском и архиважном, воистину тяжёлом и неподъёмном, не ломать голову, не губить здоровье, нервы не портить и не трепать, жизнь единственную.

– Но это проходило быстро – паника, хандра, пессимизм, – я в том абсолютно уверена! Потому что у каждого вера была могучая и неистребимая, что не напрасен всё ж таки их каторжный каждодневный труд, не шутовство и не баловство, – что очень кому-то важен и нужен... А ещё все они твёрдо знали и помнили главное: что **“не игрушка душа, чтоб плотским покоем её подавлять”**, сытостью вечной и праздностью. И коль рвётся она, голубушка, к небу и звёздам, то и не нужно её удерживать, тем паче – мешать: страстями своими, похотью и пороками, и сиюминутными житейскими выгодами.

– Они очень хорошо понимали это, – рассказывала далее разгорячённая Антонина Николаевна притихшему сыну. – Потому и поднялись так высоко, на вершину Мирового Духа, куда до них не ступал никто, ни одна тварь земная, показывая нам всем пример героической самоотверженности и самоотдачи, призывая нас, грешных, идти дальше них! – продолжать их великое подвижничество! Неужели ж тебе не хочется быть похожим на таких воистину-героических людей, Вадик?! неужели жизнь их, святая и праведная, не трогает, не зажигает тебя?!

Вадик слушал рассказы матушки молча, запоминал их и даже про себя удивлялся тому, как умело, оказывается, может говорить его родная мать, когда захочет, с каким вдохновением, экспрессией внутренней, жаром, – но сердцем всё-таки оставался к её рассказам глух, на уговоры материнские не поддавался, не загорался ими. И не то чтобы её рассказы не нравились ему совсем, коробили или отталкивали чем-то, – нет, ничего подобного не происходило даже и близко. Просто в сердце его непоседливом, пламенном тогда безраздельно властвовали другие герои – те, например, кто на последней, по телевизору увиденной Олимпиаде совершал насто-

ящие чудеса на лыжне, спортивные подвиги даже; а на финише падал без чувств в объятия счастливых товарищей, массажистов и тренеров, обеспечив командe победу. Кто потом стоял с заострившимся, почерневшим лицом на пьедестале почёта с букетом цветов в руках и золотой олимпийской медалью на шее, а в его честь в это время играли гимн их великой и могучей Державы, Союза Советских Социалистических республик; и на флагштоке поднимался к небу кроваво-красный флаг с серпом и молотом в уголке – самый красный из всех и самый красивый флаг на свете!

– ...Ну а разве ж спортсмены: я заслуженных мастеров имею ввиду, а не дилетантов и физкультурников, членов кружка здоровья, – разве ж они, отдающие большому спорту всё – без остатка, профессионально им занимающиеся долгие годы, не достойны уважения и восхищения? – пробовал возражать он.

– Вадик! – строго останавливала его мать, чувствуя настроение сына. – Человек – это не только руки и ноги, пусть даже и очень сильные и быстрые; это ещё и душа, и разум, и воля, и дух Божественный, всепобеждающий... и многое-многое другое – духовное, неосоздаемое и необъятное, – что отличает его от четвероногих и двуногих существ, что, собственно, и делает человеком. А ты пытаешься сознательно ограничить себя развитием одних лишь рук и ног, да ещё, может быть, легких с сердцем... А со всем остальным как быть, духовным? На свалку выбросить что ли? или Господу Богу вернуть? На, мол, возьми, Отче, назад: мне это всё без надобности?!...

– Спорт, – переводя дух, продолжала матушка чуть спокойнее, – это хорошо; это очень хорошее и нужное дело, я разве ж спорю, сынок, – если только рассматривать его как средство для поддержания физической формы, для укрепления здоровья телесного – не более того. Но это никак не цель, не самоцель для человека! – это же очевидно! Только дебилы полные всю свою жизнь способны бегать и прыгать, и пудовые гири тягать! – на что ты, как мне кажется, и нацеливаешься и что мне более всего не нравится в тебе, категорически не нравится... Ведь сам посуди, Вадик, дорогой ты мой человек, что как ты там ни тренируйся, как ни бегай, высунув по-собачьи язык, хоть по несколько раз на дню в секцию свою мотайся, – ты всё равно никогда не будешь носиться по улице быстрее лошади, или собаки той же; сколько гириями ни маши, ни тягай их тупо – здоровее медведя или быка не станешь. Ты со мной согласен?...

Вадик хмурился, не отвечал – сидел и сопел только.

– ...А разум, – так и не дождавшись ответа, продолжала дальше свои убеждения Антонина Николаевна, изо всех сил пытавшаяся достучаться до своего упрямого чадушки и хоть чем-то его зацепить и воспламенить, – разум сделал маленького ничтожнейшего человечка хозяином всей земли, позволил того же медведя с лошадей приручить, сделать своими помощниками и союзниками. Больше скажу: разум помог человеку космос освоить, на далёкую Луну слетать, дал возможность – только ему одному! – заглянуть в другие миры, объять Вселенную нашу до самых дальних границ, мысленно перейти те границы. А ты не хочешь учиться, не хочешь ни сколечко напрягать и развивать мозги; хочешь всю силу природную, всю энергию с волей пустить в мышцы ног, в бег какой-то, дурацкие лыжи – добровольно мечтаешь в собаку гончую превратиться, уж извини, в лошадь скаковую, ипподромную! Ну не глупо ли это, сам посуди, не мелко ли?!...

– Ты только подумай, сыночка мой ненаглядный, представь себе на секунду, как удивительно человек устроен, с какой амплитудой и диапазоном возможностей самых диких и невероятных, изначально заложенных в нём, – говорила мать далее с жаром, что с каждым новым словом и мыслью разгорался в груди её всё сильнее и сильнее. – Его ребёнком можно оставить в лесу, и он – один если будет – превратится там в дикаря, в Маугли, не знающего ничего, даже и языка человеческого, умеющего только что-то жевать непрерывно и пить, и по деревьям как обезьяна лазить; а можно его наоборот посадить в библиотеку, к культуре с юных лет приобщить, – и он наверняка станет большим учёным, писателем мировым или поэтом.

Ты видишь, какая человеку с рождения дана широта выбора необычайная: или чистый дикарь, живущий одними инстинктами, всю жизнь потакающий им, или чистый гений – как Пушкин и Лермонтов например, или те же Есенин с Блоком, – которые уже в молодости обуздали дикую природу свою, возвысились над ней, поставили её себе на службу. Куда хочешь – туда и иди, кем хочешь – тем и становись. Хочешь – дикарём, хочешь – гением: всё в твоей власти, всё под силу тебе! всё реально и всё возможно! Разве ж это не чудо Господне, скажи? – такая данная нам от природы свобода и широта выбора!... Я не спорю: здесь важны, конечно же, и условия жизни, и окружающая обстановка, и куча всяких случайных причин; очень многое значит для каждого из нас семья, дух и настрой семейный. Но судьбу-то свою человек – если только он не ничтожество полное, не дебил и не тряпка! – судьбу себе каждый, по большому счёту, всё-таки выбирает сам. И выбор этот наиважнейший делается сейчас, в твоём именно, Вадик, возрасте.

– Что тебе лучше, скажи? – обращалась Антонина Николаевна к сыну, – опуститься совсем, превратиться в дебила и дикаря, пустышку, ничтожество полное? Чтобы бездарно промотать отпущенный для жизни срок и потом исчезнуть бесследно и навсегда, будто бы тебя и не было на белом свете? Или вспомнить, всё же, пока не поздно ещё, что ты – Человек, что *“звучишь гордо”*? Что такие же люди как ты – точно такие же! – творили мировую культуру с наукой и остались поэтому жить в веках, в благодарной памяти потомков. Что тебе лучше, ответь?! признайся как на духу мне, самому близкому тебе человеку?!...

И опять молчал Вадик, не зная что и сказать; опять подозрительно хмурились его пушистые брови...

У Антонины Николаевны от этого молчания опускались руки, страх поселялся в душе, когда она видела полную свою беспомощность, полную неспособность и неумение докричаться до сердца сына, оживить и воспламенить его, на правильный путь настроить.

–...Вадик, – приводила она последние аргументы и доводы, что имелись в наличии в памяти и помнились со студенческих лет ещё. – Ты знаешь, например, что человек при жизни использует лишь незначительную часть своего головного мозга? Большая же часть нашего *серого вещества* не работает и не используется совсем, находится как бы в резерве... Так вот, не просто же так дан человеку такой внушительный интеллектуальный резерв, как ты думаешь? Его, наверное, необходимо как-то использовать, развивать – этот *“золотой запас”* человечества? Ведь недаром же учит Церковь, что *“человек – это творец, раскрывающий в своей жизни дары Божии”*... Вот Михайло Васильевич Ломоносов при жизни сделал великое дело – развил и заставил работать несколько запасных извилин в собственной голове, если уж совсем грубо и примитивно про него сказать, расширил собственные возможности и пределы сознания. И честь ему и хвала за это: вон, какое наследство немыслимое и необъятное всем нам оставил в дар! До сих пор осваиваем! И Лобачевский с Менделеевым сделали нечто похожее после него, и многие-многие другие великие наши предки... И нам, современным людям, нужно обязательно продолжать их славный научный почин: не останавливаться на достигнутом, не почивать на лаврах, не спать – идти дальше. Не жить паразитами за чужой счёт, не проматывать, не распылять богатств, оставленных нам предками. Самим себе на жизнь зарабатывать – творить, выдумывать, пробовать!

–...Знаешь, давным-давно я прочла у кого-то... сейчас даже и не помню уже – у кого, удивительные слова, – нагнув гудевшую голову, усиленно попыталась вспомнить Антонина Николаевна чью-то известную фамилию, какого-то немецкого философа; но так и не вспомнила, опять посмотрела на сына горящими от чувств глазами и виновато следующее произнесла: – Слова эти такие, слушай внимательно и запоминай: **“Человек есть нечто, что должно быть преодолено”**. И дальше: **“В человеке можно любить только то, что он – переход и уничтожение... мост, а не цель”**. И это, Вадик, родной, надо понимать буквально, понимать так, что человек должен со временем преодолеть себя, свою ничтожность и тварность, и стать **Сверхчеловеком** вначале, а потом и **Богом**.

– Поразительные слова! поразительные! – зачарованная Антонина Николаевна качала головой блаженно и от восторга прищуривала глаза, при этом далеко-далеко ими смотря, в какую-то даль неведомую и незримую, по-детски улыбаясь при этом. – Вдумайся только, сынок, как сказано: человек должен преодолеть себя, теперешнего, **сознательно** преодолеть, превысить свои возможности! Он просто обязан это сделать, слышишь, у него есть для этого всё: он всё получил с рождением... И ты обязан – милый мой, славный сын! – превзойти себя, подняться над собой, над теперешней своей природой, ничтожной и жалкой в сравнение с **Блаженной Вечностью**, в сравнение с **Божественной красотой**. Чуть-чуть “подняться”, хотя бы на один вершок; стать умнее и грамотнее, прозорливее и великодушнее. И все мы, в итоге, “поднимемся” вместе с тобой. И ближе станем к Небесному Отцу, создавшему нас такими...

– Тому же самому, по сути, и Церковь с первого дня учит, что *“Господь сотворил человека не так, как Он творил все остальные живые существа, а совершенно особым образом - по Своему образу и подобию”*. *“Мы – дети Бога, Его небесные семена. Придёт день, и мы будем тем, что есть наш Отец”*. Эту непреложную истину, помнится, мне, тогда ещё молодой студентке, священник одного нашего областного прихода когда-то поведал, когда я на исповедь к нему пришла на летней полевой практике. Только для этого, строго сказал он мне, постараться надо, потрудиться *“в поте лица своего”*, стране и Господу послужить, душу укрепить и разум. А не сидеть сиднем, как большинство народа сидит, *“не ждать у моря погоды”*...

– А ещё он мне поведал тогда в задушевной нашей беседе, в дополнение к проповеди, что так называемая “теория” Дарвина о происхождении людского племени от обезьяны, которую тебе на уроках биологии ещё предстоит проходить, – это чистой воды бред, профанация, масонские выдумки и уловки. Чтобы “крылья” у человека подрезать, сознательно его одурачить, ослабить внутренне и “ослепить”, в раба превратить, идиота, объект для зомбирования и манипуляций, и тяжёлой ломовой работы на благо сильных мира сего, *братьев-масонов* так называемых и их кураторов и кукловодов – ростовщиков-финансистов. Словом, чтобы лишить человека, всемогущего и бессмертного от природы, веры в своё Божественное происхождение и бессмертие, сознания, что всё ему, рабу Божьему, под силу и по плечу, любые задумки и планы; что его земная быстротечная жизнь, наконец, лишь подготовка к жизни Небесной, Вечной...

– Вот для этого-то человека и уподобляют животному хитрые, злые дяди, сынуль. Даже “теорию” не поленились, изобрели, представляешь! Чтобы этим пошлым и гнусным уподоблением пустить нас всех по заведомо-ложному следу: принудить развивать не Божественное, а тварное в себе, изначально-проигрышное и ущербное. Чтобы спрятать от каждого истинный, праведный, животворящий путь к самосовершенствованию и развитию, сверх-возможностям, сверх-способностям и сверх-задачам. А в итоге – к Богу на небеса, в Святое грозное войско Отца небесного. Это у Дарвина и дарвинистов главная цель: **загасить в душе человека святой небесный огонь, убить веру в собственное Божественное предназначение**. После чего человек неизбежно становится скотом, или тварью земной. Это же так очевидно!

– Какой смысл, действительно, – подумай и согласись, Вадик, – праведно и честно жить, к высокому и вечному всем естеством стремиться, думать, молиться, детишек по Божьим заветам воспитывать? – если только представить на миг, только представить! что напрасно и иллюзорно это. И конец у каждого один, печальный и неизбежный, – тлен и сырая могила, как и у дарвинских обезьян, смерть и забвение... Да при таком-то мрачном, воистину чёрном подходе: что всё в итоге прахом пойдёт, всё *“суета сует и томление духа”*, – у любого богатыря опустятся руки, поверь. И он с неизбежностью превратится в “карлика” и пустозвона, дебила, циника и неврастеника, временное существо на земле, а то и вовсе в самоубийцу. И примеров тому – миллионы, о чём красноречиво притоны и кабаки свидетельствуют, игорные дома и клубы, где без пользы транжируется время, бездарно прожигается жизнь, где, наконец, сводят счёты с жизнью. И обитают там именно дарвинисты, как мотыльки живущие одним днём.

Причём, самым скотским, пошлым и диким образом: предаются изменам, разбою и воровству, пьянству, разврату, чувственным наслаждениям – и больше ни о чём не думают. Только лишь о самих себе, отчаянных и любимых: как бы им повеселее и послаще день прожить, нажраться и напиться, намиловаться вволю. А там хоть трава не расти, хоть возьми и взорвись всё или гори ясным пламенем!... И правильно, так и надо и должно себя вести, если только поверить масону Дарвину, что ты – животное, обезьяна; и впереди у тебя – пустота, чёрная страшная яма! Только с таким настроем упадническим и такую “верой” – прямой путь в вертеп или петлю, на поклон к Мировому Ростовщику за золотом и деньгами. А от него, от Ростовщика, – к Дьяволу в лапы. А куда же ещё?!...

– Им-то, Князем Мира сего, и его лихими подручными и была придумана сказка про обезьяну, нашу прародительницу якобы. Чтобы было легко расправиться с нами – “слепыми”, слабыми и безвольными, потерявшими моральный ориентир и, главное, потерявшими Бога в сердце. Это всё вещи Церкви давно и хорошо известные: с первого дня Православие борется с ними, выкорчёвывает на корню... Ты не верь этим бредням, Вадик, любимый, и никого никогда не слушай, кто будет вздор подобный тебе со знанием дела внушать, – даже и учителей. Это не “теория” никакая, поверь, а всего лишь надуманная и широко и умело разрекламированная по всему миру гипотеза, которой – грош цена; гипотеза мерзкая и богопротивная к тому же, не подтверждённая ни фактами, ни элементарной логикой, направленная, прежде всего, против религии, против Бога. У обезьяны, элементарно, слишком мало мозгов, физиологически мало, чтобы при любых – даже самых благоприятных – условиях когда-нибудь стать человеком...

– Человек – существо особое, **божественное**, – в сотый, тысячный раз тебе повторю, как повторит то же самое и любой добросовестный поп-батюшка в Церкви. Изначально *“влагалась в человека, в его человеческое естество искра Божества, и так открывалась человеку возможность, при данной ему свободе, “обожиться” и тем самым стать участником Блаженной Вечности, имеющей возникнуть после исчезновения временного мира”*. И большой грех, сын, отбрасывать своё **богоподобие**. Добровольно, “свободой” пользуясь, отказываться от замыслов Творца, гасить Его “искру” в зародыше. Человек, отвергающий Промысел Божий, тем более – на него плюющий, долго существовать не сможет: его ожидает **Смерть!**

– Ибо сказано сведущими людьми, что *“можно не стремиться в Отечество Небесное, но тогда смерть духовная неизбежна; можно не делать ничего для своего Отечества земного, но тогда зачем нужен такой гражданин Отечеству Небесному?!...”*

15

Кто знает, как долго пришлось бы Антонине Николаевне агитировать старшего сына за необходимость учиться и побольше стараться в школе, стремиться к вечному и нетленному, к небесам, духовно, так сказать, совершенствоваться и преображаться, и сагитировала бы она его вообще, – если бы не два знаменательных и внешне никак между собою не связанных события, одно за другим в середине седьмого класса последовавших и круто, в одночасье почти, переменивших детскую жизнь Вадика, к книгам, к учёбе его накрепко привязав, а от спорта навсегда отвадив.

Первое событие произошло сразу же после Нового года, второго января. И связано оно было, как это ни покажется странным, с хоккеем, с традиционными общесоюзными соревнованиями на призы клуба “Золотая шайба”, что миллионы сопливых мальчишек неизменно собирали под своими знамёнами и столько “звёздочек” и настоящих “звёзд” большому хоккею дали, столько талантов открыли в своё время. Каждый год проводились по всей стране, в каждом областном и районном центре эти соревнования школьников, пользовавшиеся невероятной популярностью у ребят, – проводились добротнo, с размахом, как и любое дело в СССР, любое важное начинание. И несколько лет подряд Вадик Стеблов – ученик младших и средних классов, не подходивший для участия по возрасту, был их самым активным, самым горячим зрителем... Ух! как истошно кричал он в дни состязаний, как жарко “болел”, поддерживая школьную команду, с каким азартом, прытью неимоверной кидался вдогонку за вылетающей за пределы площадки шайбой, которую подобрать и обратно на лёд вернуть было для него счастьем! Соревнования захватывали его целиком: он следил за ними все дни напролёт, до последнего свистка судейского не отходил от бортика.

О собственном участии в “Золотой шайбе” ему тогда, естественно, и не мечталось даже. Куда ему, недоростку, было до тех страстей и сражений нешуточных, что ежедневно кипели на городских ледовых полях, разгораясь и накаляясь к финальным схваткам предельно.

Но время, как известно, быстро бежит – так быстро, что порою только диву даёшься. Вот и наш молодой герой не заметил совсем, как подрос, как подошёл и его черёд защищать спортивные цвета школы: по возрасту подошёл – не по мастерству!...

Перед Новым годом, 24-го декабря, когда вторая четверть последние денёчки отсчитывала, его на перемене неожиданно остановил физрук.

– Вадик, привет! – как всегда бодро поздоровался он, ещё издали Стеблова в толпе заприметив и делово к нему подскочив.

– Здравствуйте, – также бодро и весело ответил ему ученик, настроение у которого было прекрасное. Да и как оно могло быть другим, когда Новый год приближался – самый лучший праздник у детворы, самый из всех долгожданный и на подарки щедрый! А следом за ним – и каникулы.

– Как дела? как учёба? – издалека начал Бойкий свой разговор. – Четверть закончишь нормально?

Вадик замялся, нахмурился, голову опустил. Настроение его немного подпортилось от такого вопроса.

– ...Нормально, – нехотя, сквозь зубы ответил он через паузу, не глядя уже на учителя, не желая тому на бегу объяснять, что с учёбою у него были большие проблемы.

– Ну и хорошо, и славненько! – быстро подытожил Бойкий своё вступление, делая вид, что ничего не знает про то, как любимец его в последнее время учится и как жалуются на него учителя. – Каникулы скоро: что на них делать собираешься?

–...Да ничего, – выпрямившись, пожал плечами Стеблов, признательно на учителя посмотрев. – Отдыхать буду.

– Молодец! – похвалил Бойкий весело. – А ваши, я слышал, на область едут? на отбор?

Он имел ввиду лыжную секцию Вадика; он знал, что сразу после Нового года лыжная сборная города во главе с Моховым должна была уезжать на областные отборочные соревнования, где ежегодно формировалась уже сборная лучших лыжников области для участия в традиционных республиканских соревнованиях школьников в Сыктывкаре – про то и спрашивал ученика. Знал Бойкий и то, естественно, что Вадик на тот отбор не подходил по возрасту: у него ещё был в запасе целый год. И хотя он и бегал уже на длинных дистанциях и имел в активе второй взрослый разряд, – оба тренера вполне разумно решили не травмировать до срока его неокрепшую психику соревнованиями такого уровня: дали ему на каникулах отдохнуть.

– Да, едут, – подтвердил Стеблов информацию учителя. – Третьего числа, кажется, уезжают.

– Тебя с собой не берут? – машинально, безо всякого умысла спросил Вячеслав Иванович, чтобы только разговор поддержать; но увидав, как побледнел ученик, расхохотался тут же. – Да не расстраивайся ты! – сказал он, смеясь, по плечу Стеблова с размаха хлопая. – Я просто так спросил – безо всякой цели... Правильно они делают, что не берут: рановато тебе ещё на такие старты выходить – силёнок надо набраться... Меня самого на область, кстати сказать, только в девятом классе взяли. И то, знаешь, как я там оробел?! – ни как стартовал, ни как бежал не помнил! Стыдобаща!... Там такие “зубры” собираются! – ужас! Новичка на куски порвут! – места мокрого не останется!... Так что не расстраивайся, не надо: набегашься ещё, – опять улыбнулся он, – ещё возьмёшь свои призы и медалики... Эстафета вон городская скоро. Смотри, я за тобой одно первое место уже забронировал... А захочешь, можешь на двух этапах опять бежать, как прошлой весной.

Озорно тряхнув повеселевшего ученика за плечи, он потянул его за собой по коридору и вдруг спросил шагов через пять:

– Скажи вот лучше: ты в хоккее играешь?

– В хоккей?! – не сразу понял Вадик вопрос физрука. – В хоккей играю. А что?

В хоккей он действительно играл: и в детстве, когда только пошёл в школу, когда ему клюшку отец купил, и даже теперь, когда все силы уходили у него на лыжи. Но играл, в основном, у себя во дворе – на расчищенной от снега небольшой площадке. И играл там, естественно, без коньков, “на своих двоих” как говорится.

– А коньки у тебя есть? – всё допытывал его Бойкий.

– Есть.

– Катаешься на них нормально?

–...Нормально.

А вот тут уже Вадик врал, не желая лицом в грязь перед любимым с пятого класса учителем падать. Коньки у него дома были – это правда, – но взрослые, очень большого размера. И не хоккейные совсем – с низкими в голенищах ботинками. Их кто-то давным-давно одолжил отцу, а взять назад позабыл. Или же постеснялся. И они с тех пор висели у Стебловых в сарае на гвоздике.

Когда коньки эти только появились в доме (тоже, помнится, под Новый год), Вадик учился в третьем классе. Нога тогда у него была ещё совсем маленькая, болталась в ботинке как кусок мыла в тазу. А прокатиться на коньках ой-как хотелось! – тем более, что они были у него первые. Но как это было сделать? как коньки приручить?

Выход тогда подсказал отец, который, задумавшись на секунду и проявив смекалку, лихо запихнул в ботинки валенки сына, после чего накрепко ботинки зашнуровал и даже для надёжности обмотал изоляцией. И получились, в итоге, приличные по всем статьям коньки – не хуже твоих “канадок”... И размер стал в точности подходить, и нога сидела уже как влитая. И

гонял тогда Вадик целыми днями без отдыха на отцовских модернизированных коньках – на зависть товарищам-одногодкам, что катались всего лишь на “снегурках” по замёрзшему городскому пруду и постоянно падали. Вадик же не падал совсем: коньки оказались ему удобными и послушными на удивление; простым и лёгким казался и сам ледовый бег...

Но конькобежец рос – и рос быстро; и также быстро росли размеры его ног и валенок. Настал момент, когда они, валенки, уже перестали влезать в коньковые кожаные ботинки, и коньки тогда вынужденно пришлось одевать уже на голую ногу... И вот тут-то они и показали истинный норов свой, сделавшись вдруг неуправляемыми и неудобными страшно, сколько б носков шерстяных на себя отрок Стеблов перед этим ни одевал.

Покатавшись на них, безваленочных, с часок, от души намучавшись и обе ступни намяв до боли, мозоли кровавые посадив на щиколотки и пятки, Вадик далее решил не искушать судьбу, не ломать и не портить ноги. Болезненно морщась и охая, спотыкаясь и падая неоднократно, он воротился тогда к оставленным в раздевалке валенкам, скинул на пол коньки, глубокое облегчение испытывая, и более их с тех пор уже не одел ни разу: так и пылились они потом несколько лет в сарае, никому в их семье не нужные...

Бойкий про это, естественно, ничего не знал, про такие коньковые приключения. Он спросил: можешь? Ученик ответил: могу. Он и обрадовался, и вздохнул с облегчением.

– Ну и отлично! – с удовольствием потирал он руки, идя рядом с Вадиком по коридору. – Значит записываю тебя в школьную команду, которых у нас будет три. Поиграешь на каникулах в хоккей – пока у вас в секции перерыв намечается... Про “Золотую шайбу” слышал, надеюсь? Вот туда тебя и записываю. Коньки у тебя есть, про клюшку не спрашиваю; форма – обычная, спортивная, в какой ты на тренировки ходишь...

Таким вот образом Вадик Стеблов совершенно, можно сказать, случайно попал в хоккейную команду школы для участия в городских соревнованиях на призы клуба “Золотая шайба”. И уже второго января он вышел на свою первую в жизни “большую” и ответственную игру, что при огромном стечении зрителей проходила на их городской площади. Грядущий хоккейный турнир и связанные с ним баталии казались ему, чудаку, развлечением лёгким и увлекательным, в точности похожим на те, что ежедневно, с ноября месяца начиная, проходили у них во дворе, в которых он неизменно участвовал, когда свободен был, в которых через раз побеждал с успехом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.